

ЛИНА ЛИЧМАН

Не всё
так, как
кажется

ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ



Лина Личман

**Проклятый дом, или
Не всё так как кажется**

«Автор»

2026

Личман Л.

Проклятый дом, или Не всё так как кажется / Л. Личман —
«Автор», 2026

Она просто приехала оформить наследство. Но некоторые дома не отпускают людей просто так. Анастасия оказывается втянута в цепочку событий, где случайностей не бывает, а каждая находка тянет за собой последствия. Один звонок нотариуса, одна старая фотография на чердаке — и её привычная, понятная жизнь превращается в опасную игру, из которой уже не выйти. Чужие тайны, старый дом, который весь город крестясь обходит стороной, ложь длиной в тридцать лет, семейные обиды, пережившие десятилетия, — и правда, которую кто-то очень старательно прятал все эти годы. Но самое страшное — не узнать, что произошло когда-то давно. Самое страшное — понять, сколько любви прошло мимо тебя, пока ты искала её совсем не там. Это история не о проклятии. Это история о памяти, о семье и о правде, которая иногда ждёт десятилетиями. Потому что всё не так, как кажется.

© Личман Л., 2026

© Автор, 2026

Лина Личман

Проклятый дом, или Не всё так как кажется

Все персонажи и события данного произведения являются художественным вымыслом. Любые совпадения с реальными людьми, организациями или событиями случайны. Действие романа происходит в 2009 году.

ПРОЛОГ

Девятнадцатого октября тысяча девятьсот семьдесят восьмого года с владимирского вокзала уходил московский поезд, и на него были куплены два билета. Билеты никто не сдал. Они так и остались лежать в комоде, в двух паспортах, — я держала их в руках тридцать один год спустя, и картон за эти годы даже не пожелтел. Хорошим людям продали хороший картон.

Эту главу я написала последней. Когда уже знала всё, что можно узнать из бумаг, — и всё то, чего из бумаг не узнаешь никогда. Я собирала этот вечер, как реставраторы собирают утраченный слой: по тетради в линейку, по дневникам, по протоколам, по памяти соседки, которая слышала через забор смех. Я редактор, десять лет работаю с чужими текстами и знаю цену каждому слову, поэтому скажу честно: в мелочах я могу ошибаться. В главном — нет. В главном теперь не ошибается даже следствие.

Вечером семнадцатого октября тысяча девятьсот семьдесят восьмого года в доме двадцать один по Старой улице пили чай.

Таня вернулась незадолго до темноты — забежала к подруге, «на минутку, соль верну», а на самом деле относил конверт. «Подержи до воскресенья, мы вернёмся — заберу, и посмеёмся». Она всегда смеялась, когда боялась, — но об этом знала только подруга, а муж знал другое: что бояться при ней нельзя, она тут же начинает бояться за двоих и звенеть чашками. Поэтому Алёша не боялся. Он сидел под лампой и в четвёртый раз перекладывал портфель: выписки — во внутренний карман, который Таня ему пришила накануне, сорочка, бритва, два яблока из материнского сада. Антоновка. Самая лёжкая, до Москвы бы доехала.

Печь топилась. На белых изразцах сидели синие птицы, и за нижним угловым, у самого пола, уже лежал свёрток в провощённой бумаге — лежал четвёртый день и должен был пролежать до их возвращения. Про птичье дупло в этом доме знали трое: хозяйкина внучатая племянница, девочка Ася, которой ещё не было на свете в этой истории, появится позже; тёща, которой никто ничего не сказал, чтобы не извелась; и Таня — потому что от Тани у Алёши не получалось скрывать. Я долго думала, почему он спрятал тетрадь именно туда, в детский тайник, а не закопал, не увёз, не сжёг. Теперь думаю так: он был реставратор. Он знал, что самые важные вещи сохраняются не там, где их стерегут, а там, где их любят.

Они пили чай с Таниным смородиновым — она в тот год впервые сварила варенье сама, без мамы, и страшно этим гордилась. Обсуждали Москву: однокурсник обещал свести с человеком из министерства в пятницу, значит, в четверг вечером — к тётке на Сретенку, у неё диван и строгие порядки. «Будешь спать на сундуке», — сказала Таня. «Я согласен на сундук», — сказал Алёша. По дневникам, по всем показаниям, по всему, что я знаю об этих двоих, — они в тот вечер смеялись. Раиса Степановна слышала через забор и потом тридцать лет не могла забыть: «Танька как примется, и Алёшка за ней». Это был последний звук этого дома на долгие годы — смех. Дальше дом замолчал на тридцать один год.

Перед сном Таня собрала на четверг сумочку и примерила к пальто платок — тот, синий, с каймой. Повертелась у зеркала и повесила его на гвоздь у двери — комом, на бегу, как вешала всё и всегда, сколько её знали. Запомните, пожалуйста, этот платок. Его потом найдут висющим ровно и аккуратно, расправленным по гвоздю, — и один немолодой следователь по одному

этому платку поймёт всё и промолчит на тридцать лет. Так и работает ложь: у неё всё ровно, всё расправлено, всё аккуратнее жизни. Живое — оно всегда вкривь.

Ходики пробили одиннадцать. Алёша закрыл выюшку — печь к ночи прогорела. Таня погасила в горнице свет.

А потом в дверь постучали.

Поздно, по-хозяйски, дважды. Алёша пошёл открывать — он всю жизнь сам открывал двери, тихие люди почему-то всегда открывают сами. Таня крикнула из горницы: «Кто там в такую пору?»

Ответа я не знаю. Здесь кончаются мои источники — тетрадь, дневники, протоколы, соседская память — и начинается то, что тридцать один год называлось словом «самоубийство». Дальше я не пойду: этот вечер принадлежит им двоим и тем, кто вошёл. Первым — вечная память. Вторых найдут на страницах этой книги, и пусть никто не обещал мне, что всех.

Меня зовут Анастасия Ветрова. Я редактор. Тридцать один год спустя этот дом достанется мне в наследство — вместе с садом, котом, банкой варенья, подписанной моим именем, и поручением, которое уместилось в четыре слова. Я расскажу всё по порядку — так, как оно случилось со мной. А случилось оно, как и положено хорошей истории, в самый обыкновенный день, посреди чужой плохой рукописи.

Главная героиня романа, который я редактировала уже третью неделю подряд, умела всё. Стрелять с двух рук, взламывать сейфы шпилькой, готовить фуа-гра из подручных материалов и влюблять в себя олигархов одним движением брови. К сорок третьей странице она успела овдоветь, разбогатеть, отомстить и дважды сменить цвет волос, причём оба раза — «волной шёлковых локонов». Я к своим тридцати пяти успела примерно ничего, если не считать выдающегося умения находить опечатки в чужих шедеврах и комнаты в коммуналке на Шаболовке.

«Её глаза цвета грозового неба вспыхнули стальным блеском, и Эдвард понял: эта женщина не остановится ни перед чем».

Я занесла руку над абзацем, как хирург над пациентом, и приписала на полях: «Глаза не могут одновременно быть цвета неба и вспыхивать сталью. Определитесь с металлургией». Потом подумала и стёрла. Виктория Аркадьевна Лебедь-Сафронова — а именно так, всеми четырьмя словами, подписывалась наша звёздная авторша — на прошлой неделе уже рыдала в кабинете главного, что я «убиваю её музу канцелярским ножом». Музу было не жалко. Жалко было премию, которую мне пообещали срезать, если Лебедь-Сафронова улетит со своей нетленкой в другое издательство.

Поэтому я вздохнула и написала нейтральное: «Подумайте над формулировкой». Это универсальная редакторская фраза. Переводится как «здесь ужас», но звучит как забота.

— Ась, тебе кофе брать? — В проём кубика всунулась Леночка из отдела продвижения, существо солнечное и непуганое. — И слушай, ты по гороскопу кто?

— По гороскопу я редактор, — ответила я. — Это диагноз. Кофе бери, чёрный.

— А я серьёзно! Тут пишут, что у Дев сегодня судьбоносный день. Финансы, неожиданные известия и роковая встреча.

— Лен, у меня судьбоносный день — это когда автор согласился убрать из текста хотя бы один восклицательный знак. А финансы у меня по гороскопу не предусмотрены. У меня аванс двадцатого.

Леночка фыркнула и упорхнула к кофемашине. Я посмотрела ей вслед с лёгкой завистью. Хорошо быть человеком, который верит гороскопам. У них всегда судьбоносный день, роковая встреча и Меркурий виноват. А у нас, зануд, — дедлайн, сводная таблица правок и подозрение, что Меркурий тут вообще ни при чём, потому что бардак в жизни мы организовали себе сами, без помощи небесных тел.

Если бы я знала, насколько Леночкин гороскоп окажется точным, я бы, наверное, вышла из редакции прямо тогда. Через окно. С третьего этажа. Но будущее, как известно, своих карт

заранее не открывает — оно просто сдаёт их тебе по одной и с интересом наблюдает, как ты пытаешься сделать умное лицо.

Для таких, как я, у мироздания, впрочем, предусмотрена отдушина. У меня был ЖЖ — Живой журнал, страничка под ником «Редактор головного мозга»: несколько тысяч подписчиков, которым я по вечерам рассказывала про будни профессии. Про «бездонное лоно страсти». Про авторшу N., расставляющую запятые по дыханию. Про то, как отличить синопсис от крика о помощи. Имён я, разумеется, не называла — я редактор, а не самоубийца. Подписчики смеялись, требовали продолжения и были уверены, что я всё выдумываю. Святые люди. Если бы.

Последний пост, к слову, висел там с июля и назывался «Туда не ходи, сюда ходи, или Зачем героине двадцать смен образа». Цитирую по памяти, потому что наизусть: «Дорогая авторша N.! Ваша героиня за роман переодевается тридцать восемь раз — я посчитала, у меня таблица. Она меняет образы чаще, чем ваш сюжет — направление, и поверьте, это серьёзное достижение, потому что направление ваш сюжет меняет на каждой странице. Однако запомните главное правило гардероба в литературе: если в первом акте на героине шёлковый пеньюар, то в пятом акте он обязан хотя бы выстрелить». Под постом было четыреста комментариев, и в трёхсот из них меня спрашивали, не про Дарью ли Кипарисову речь. Про Дарью Кипарисову я даже не писала. Совпадение тревожное, но показательное.

Вот таким было моё медийное наследие к тридцати пяти годам: псевдоним, стрекозиный юмор и таблица переодеваний чужой героини. Запомните эту страничку, дорогие мои.

Леночка, кстати, была моим первым и самым преданным комментатором — под ником «Солнышко_в_офисе», что не оставляло никакого простора для конспирологии.

До обеда я успела отбить у Лебедь-Сафроновой два «волнующих изгиба», одно «бездонное лоно страсти» (не спрашивайте) и героически отстоять запятые в количестве сорока штук. Запятые Виктория Аркадьевна расставляла по принципу «где дышится, там и ставлю», а дыхание у неё, судя по тексту, было аритмичное.

Телефон зазвонил, когда я как раз дописывала письмо с правками — вежливое, как приглашение на казнь. Номер был незнакомый, городской, не московский. Код я не опознала. И тут необходимо сделать лирическое отступление: за последний месяц мне звонили — «служба безопасности банка», которая очень переживала за мои сбережения (все восемь тысяч рублей, видимо, не давали им спать), «оператор связи» с уникальным предложением и какой-то бодрый юноша, сообщивший, что я выиграла автомобиль. Автомобиль надо было только забрать, предварительно оплатив «оформление». Юношу я тогда довела до того, что он бросил трубку первым, — мой маленький спортивный рекорд, которым я по сей день горжусь.

Так что к незнакомым номерам я подходила во всеоружии.

— Алло, — сказала я голосом женщины, которой нечего терять.

— Добрый день. — Голос был женский, сухой, без эмоций и старше меня лет на двадцать. — Могу я услышать Анастасию Викторовну Ветрову?

— Смотря зачем она вам, — любезно ответила я. — Если у неё заканчивается ОСАГО, истекает срок действия карты или она опять что-то выиграла — то её нет. Уехала. В Нигерию. К дяде-миллионеру, он как раз наследство оставил, не слышали?

На том конце помолчали. Потом сухой голос произнёс с расстановкой, как диктуют под запись:

— Нотариус города Суздаля Корнилова Вера Павловна. Я звоню по поводу наследства, открывшегося после смерти Капитолины Андреевны Полётовой.

Вот тут полагалось бы выдать что-нибудь искромётное. Про Суздаль, про нотариусов, про то, что наследство у меня уже есть — комната двенадцать метров и кактус. Заготовка вертелась на языке, честное слово, уже почти сорвалась. И не сорвалась. Потому что — Капитолина Андреевна...

Есть такие имена, которые не выговоришь случайно. Их не возьмёшь из базы данных, не сгенерируешь скриптом для обзвона дурочек. Капитолина Андреевна. Баба Капа. Я не произносила этого имени вслух лет двадцать, я была уверена, что оно вообще лежит где-то на антресолях памяти, между скакалкой и пеналом с переводными картинками. А оно, оказывается, лежало прямо под сердцем, и когда по нему ударили — зазвенело всё.

— Алло? Вы меня слышите? — спросила трубка.

— Слышу, — сказала я. Голос у меня сел, как чужой. — Я Анастасия. Я слушаю. Простите.

Редакция вокруг продолжала жить: гудела кофемашина, Леночка смеялась в телефон, за стенкой главный распекал верстальщика. Только всё это разом отъехало куда-то на второй план и звучало теперь глухо, как из-под воды.

— Капитолина Андреевна Полётова скончалась четырнадцатого марта этого года, — ровно сказала Вера Павловна. И, помолчав, добавила уже не по протоколу: — Соболезную.

Четырнадцатого марта... Я механически посчитала: почти полгода назад. Полгода. В марте я сдавала сборник детективов, ругалась с корректором и покупала себе сапоги на распродаже. Я отлично помнила март. В моём марте ничего не случилось.

— Как... — я не знала, что спрашивают в таких случаях. — Как это произошло?

— Несчастный случай. Упала с чердачной лестницы. В её возрасте, сами понимаете... — Нотариус сделала паузу и вернулась на привычные рельсы: — Анастасия Викторовна, по завещанию вы являетесь единственной наследницей. Дом, земельный участок, всё движимое имущество. Вас разыскивают с апреля. Шестимесячный срок принятия наследства истекает через три недели, поэтому я настоятельно рекомендую вам приехать в ближайшее время. При себе иметь паспорт и...

Она ещё что-то говорила про документы, подтверждающие родство, про свидетельство о рождении матери, про какую-то выписку. Я даже что-то записывала — потом, глядя на этот листок, я обнаружила на нём слова «свид. о рожд.», «вторник?» и почему-то «КУПИТЬ КОРМ», хотя никакого животного у меня на тот момент не было. Человеческий мозг — удивительная штука: в минуты потрясений он хватается за списки, как утопающий за соломинку.

— Подождите, — перебила я. — Вы сказали — разыскивают с апреля. Меня. Полгода. Я что, в тайге живу? У меня имя, фамилия, я в Москве прописана была у родителей до прошлого года...

— Мы направляли запросы по последнему известному месту жительства наследодательницы... то есть по адресам родственников, — голос Веры Павловны стал ещё суше, хотя казалось бы, куда уже. — С вашими родителями удалось связаться ещё в мае.

— В мае, — повторила я.

— В мае, — подтвердила она. — Ваш номер телефона нам сообщили на прошлой неделе.

Я посидела немного, разглядывая кактус на мониторе. Кактус мне подарила Леночка со словами «он совсем как ты — колючий, но живучий». Кактус, в отличие от меня, новости переносил стойко.

В мае. Мама знала с мая. Четыре месяца моя мать знала, что баба Капа умерла и что меня ищет нотариус, — и я узнаю об этом от чужой женщины с сухим голосом. В голове услужливо всплыл наш последний разговор, недели три назад: «Как дела» — «Нормально» — «Кирюше куртку зимнюю присмотрели, представляешь, восемь тысяч, кошмар какой». Про умершую бабушку в этой сводке новостей места не нашлось. Куртка вытеснила.

— Анастасия Викторовна? Вы приедете?

— Приеду, — сказала я. — Во вторник. Или... да, во вторник.

— Запишите адрес конторы.

Я записала. Рука писала сама, красивым редакторским почерком, и это было странно — внутри у меня всё ходило ходуном, а почерк не дрогнул. Десять лет тренировки: что бы ни происходило, правь аккуратно.

— И вот ещё что, — сказала Вера Павловна уже другим тоном. Я не сразу поняла, чем он отличается, а потом сообразила: он стал человеческим. — Капитолина Андреевна оставила для вас письмо. Лично в руки, так в завещании и указано. Она была... — нотариус запнулась, подбирая слово, и я почему-то затаила дыхание, — она была не такая, как про неё говорили. Приезжайте.

И положила трубку раньше, чем я успела спросить, что именно про неё говорили.

Я сидела и смотрела на экран, где Эдвард всё ещё понимал, что эта женщина не остановится ни перед чем. Счастливый Эдвард. Ему-то всё понятно.

Бабушка умерла. Моя двоюродная бабка, у которой я прожила лучшие полгода своего детства и которой перестала писать в тринадцать лет, потому что решила, что она про меня забыла. Взяла и умерла, не спросив. Упала с чердачной лестницы в своём доме, пахнущем яблоками, — и полгода пролежала в земле, пока я сдавала сборники, ругалась с корректорами и покупала сапоги.

Её хоронили чужие люди. Кто-то ведь её хоронил? Кто-то нёс гроб, кто-то заказывал автобус, кто-то, наверное, плакал — а может, и не плакал никто, и от этой мысли мне стало физически больно, как будто под рёбра вставили что-то холодное и провернули.

Понимаете, какая штука. Я двадцать лет жила с твёрдым знанием, что бабе Капе я не нужна. Это было старое, обжитое горе — как мозоль: наступишь — поморщишься и дальше пошёл. А теперь выяснялось, что всё это время — все эти двадцать лет, пока я заслуживала любовь людей, которым было не до меня, — где-то в Суздале, в доме с яблоневым садом, жила женщина, которая написала завещание на моё имя. Не на племянницу. Не на внуков подруг. На меня. На девочку, которая когда-то прожила у неё одно лето и одну осень и которую она, получается, не забыла.

И вот с этим знанием теперь надо было что-то делать, а я понятия не имела — что. Некролог не отредактируешь. В жизни, в отличие от рукописей, правки задним числом не принимаются.

— Ася, твой кофе! Остыл уже, между прочим... — Леночка затормозила на полном ходу. — Ой. Что случилось?

— Лен, — сказала я и сама удивилась, как спокойно это прозвучало. — А что у Дев там дальше по тексту? После судьбоносного дня?

— Дальняя дорога и перемены в личной жизни, — отрапортовала Леночка и на всякий случай отодвинула от меня кофе. — А что?

— А то, что я, кажется, еду в Суздаль. — Я закрыла файл Лебедь-Сафроновой, и Эдвард с его грозowymi глазами канул в небытие. — Получать наследство.

Произнесено это было до того нелепо, что мы обе секунду помолчали, а потом Леночка осторожно спросила:

— Настоящее? Не как автомобиль?

— Вот и проверим, — сказала я.

Знала бы я тогда, ЧТО именно мне предстоит проверить, — честное слово, заказала бы у судьбы автомобиль. С оформлением. Но судьба, как опытная авторша, на мои редакторские правки внимания не обращала. У неё на меня был свой синопсис, и восклицательных знаков в нём оказалось значительно больше, чем я привыкла пропускать в печать.

До дома я добиралась на автопилоте. Метро меня куда-то везло, эскалатор куда-то поднимал, ноги куда-то шли — а сама я была не здесь. Я была в восемьдесят четвёртом году, в саду, где пахло яблоками и где высокая женщина с прямой спиной учила меня отличать анто-

новку от штрейфлинга. Очнулась я только у двери своей коммуналки, обнаружив, что последние минут десять стою и пытаюсь открыть замок ключом от редакции.

Чтобы вы понимали, почему я двадцать лет не писала женщине, которая оставила мне всё, что у неё было, придётся рассказать про мою семью. Я постараюсь коротко. Хотя нет, врать не буду — коротко не получится. Про мою семью коротко умеет рассказывать только участковый психотерапевт, и то потому, что у него приём двадцать минут.

Я родилась в Долгопрудном, в обычной трёшке, в семье, где всё было как у людей. «Как у людей» — это вообще была наша семейная национальная идея, наш герб, гимн и флаг. Ели мы как у людей, одевались как у людей, и если я приносила из школы четвёрку, мать интересовалась, почему не пятёрка, а если пятёрку — почему по физкультуре снова четыре, у Снегирёвых вон дочка и отличница, и гимнастка, и волосы у неё гуще.

Дочка Снегирёвых, к слову, выросла, развелась три раза и продаёт моющие пылесосы по подъездам. Но это я так, к слову. Злорадство — некрасивое чувство, поэтому я предаюсь ему исключительно в свободное от работы время.

Мать у меня женщина монументальная. Не в смысле габаритов — в смысле несокрушимости. Если бы в восемнадцатом веке при дворе существовала должность «главный по тому, как правильно жить», моя мать занимала бы её пожизненно, передавая по наследству. У неё на любой случай жизни имелось готовое решение, и тот факт, что жизнь была чужая, её никогда не смущал. Любимых фраз у неё было четыре, я выучила их раньше таблицы умножения: «Я просто переживаю за тебя». «Я хочу, чтобы ты была счастлива». «Мне больно смотреть, как ты живёшь». И коронная, на все времена: «Посмотри на других людей».

Я смотрела на других людей лет тридцать. У других людей, если верить матери, всё всегда было лучше: мужья, дети, квартиры, карьеры и даже кишечник работал как часы. Подозреваю, если бы я полетела в космос, мать встретила бы меня на космодроме словами, что Терешкова в моём возрасте уже дважды слетала и между полётами успела родить.

Отец... С отцом сложнее. Про мать я могу рассказывать часами, про отца — секунд тридцать, и в этом, собственно, и есть весь отец. Он не злой. Он никакой. Сорок лет он проработал инженером, сорок лет приходил домой в семь, ел, смотрел телевизор и во всех домашних военных действиях занимал позицию нейтральной Швейцарии. Швейцарии, правда, нейтралитет приносил дивиденды, а отцу — только право не участвовать. Когда мать выносила мне мозг — а делала она это с регулярностью курантов, — отец делал звук телевизора погромче. Я долго думала, что он просто плохо слышит. Потом выросла и поняла: слышит прекрасно. Просто молчание — это тоже выбор, и он свой сделал ещё до моего рождения.

А потом родился Кирюша.

Мне было десять, когда в нашей семье случилось солнце. Нет, я серьёзно, без ехидства — или почти без. Долгожданный сын, наследник, продолжатель фамилии. То, что фамилию к тому моменту уже десять лет продолжала я, в расчёт не принималось: я продолжала её как-то не так. Видимо, не тем шрифтом.

Вы не подумайте, я брата люблю. Его невозможно не любить, он обаятельный, как щенок лабрадора, и примерно такой же ответственный. Кирюша вырос в твёрдой уверенности, что мир вращается вокруг него, — а как ему было вырасти другим, если мир действительно вращался? Двойки ему прощались, потому что «мальчик творческий». Долги ему закрывались, потому что «ну не в тюрьму же ему». Когда он в пятом классе спалил утюгом ковёр, виновата оказалась я — не уследила. Мне было девятнадцать, я была на лекции, но кого волнуют эти подробности.

Собственно, готовить я научилась благодаря брату. Родители работали, я приходила из школы первая, и на мне висело накормить Кирюшу. В двенадцать лет я варила свой первый борщ по телефонным инструкциям матери, которые звучали как радиосвязь с терпящим бедствие судном: «Свёклу натёрла? Какой рукой?! Ладно, клади. Капусту НЕ КЛАДИ! РАНО!»

Борщ, кстати, получился. С тех пор я готовлю хорошо, быстро и в любом состоянии — навык, выработанный, как у военных: подъём по тревоге, боевая готовность, борщ за сорок минут.

Благодарности за это, разумеется, не полагалось. Полагалась формулировка, которую я тоже выучила наизусть: «Ты всё равно ни хрена не делаешь». Под «ни хрена» понималось: училась, готовила на семью, убирала, таскала Кирюшу из секции в секцию и сдавала в общий бюджет сначала стипендию, а потом зарплату. Делом это не считалось. Делом считалось то, чего я не делала: не выходила замуж, не рожала внуков и не приносила домой зятя с квартирой.

Отдельной строкой в этом семейном бюджете шли мои подруги. Точнее, их отсутствие. Подруги у меня в детстве заводились исправно, как котята, — и так же исправно мать их топила. Светка из соседнего подъезда оказалась «из плохой семьи, у них отец пьёт». Маринка, с которой мы три года просидели за одной партой, была «хитрая, она тебя использует, я по глазам вижу». Оля из института — «легкомысленная, она тебя до добра не доведёт». К тридцати годам я обнаружила себя человеком, у которого есть мать, видящая всё по глазам, и нет ни одной подруги. Зато меня никто не использовал и не доводил до добра. Особенно до добра. До добра меня не доводил никто и никогда — тут материнская система сработала безупречно.

С мужчинами, кстати, вышло ровно наоборот: их мать одобряла, а они оказывались дрянью. Закономерность я вычислила поздно и сформулировала её для себя так: я безошибочно выбирала тех, чью любовь надо было заслуживать. Подавать к столу горячее, с гарниром из удобства и молчания. Других мужчин я просто не замечала — они не подходили к моему внутреннему станку. Станок был настроен в детстве и работал без сбоев: любят не тебя, любят твою полезность, поэтому будь полезной, и тебя, может быть, потерпят.

Романов, достойных упоминания, было три. Один забыл сообщить, что женат, — мелочь, с кем не бывает. Второй два года решал, готов ли он к отношениям, причём решал преимущественно на моей жилплощади и за мой счёт. Третий был свободен, щедр и даже, кажется, меня любил — но имел привычку в каждой ссоре сообщать, что «таких, как ты, надо ещё поискать», тоном, из которого следовало, что искать никто бы не стал. Я терпела. Я вообще была чемпионкой мира по терпению. Если бы терпение входило в олимпийскую программу, у меня дома стоял бы сервант с медалями — впрочем, мать и тут нашла бы, что сказать. «Терпишь? Молодец. А Снегирёвых дочка уже вытерпела пятерых».

Кстати, о подарках — раз уж мы препарируем мою семейку, давайте уж до конца, наркоз всё равно отошёл. Дни рождения. Кирюше на дни рождения дарили мечты: велосипед, приставку, потом мопед, потом «на права». Мне дарили пользу. В двенадцать лет — колготки «на вырост». В шестнадцать — энциклопедию абитуриента. В двадцать пять — мультиварку, «а то готовишь в старой кастрюле, перед людьми неудобно». Перед людьми, оцените. Не передо мной — перед кем-то другим. Я была не адресатом подарка, я была витриной семейного благополучия, и витрину следовало оформлять функционально.

А на тридцать лет мать подарила мне сертификат к косметологу со словами «в твоём возрасте уже пора ухаживать, потом локти будешь кусать». Я тогда весь вечер просидела в ванной — единственном месте в квартире, где можно было запереться, — и составляла в голове ответную речь. Речь была блестящая. Я её так никогда и не произнесла, как и все предыдущие блестящие речи, которых у меня к тридцати пяти годам скопилось на полное собрание сочинений. Молчание, как и готовка, было моим отработанным навыком: подъём по тревоге, боевая готовность, молчать за сорок секунд.

Справедливости ради — один раз отец почти вступился. Мне было лет четырнадцать, мать при гостях рассказывала, какая я у них «безрукая и бестолковая, вся не в нашу породу», и отец вдруг сказал из своего угла: «Люд, ну хорош». Два слова. Мать развернулась к нему всем корпусом, как орудийная башня, и спросила: «Что — хорош?» И отец сказал: «Да ничего» — и сделал телевизор погромче. Вот, собственно, и вся история отцовской обороны, я её храню как

семейную реликвию. «Люд, ну хорош». На большее у нашей Швейцарии не хватило золотого запаса.

Я слышу, как вы спрашиваете: где Суздаль, где наследство и зачем нам весь этот семейный гербарий. Потерпите, мы почти пришли. Без гербария вы не поймёте главного: почему одна банка варенья на верхней полке старой кладовки окажется для меня событием покрупнее всего наследства разом.

Жила я при этом, напоминая, с родителями. До тридцати четырёх лет. Сейчас, произнося это вслух, я слышу, как это звучит, — а тогда не слышала. Тогда это называлось «так удобнее» и «куда я пойду, снимать — это же деньги на ветер». Деньги на ветер не пускались: они сдавались матери, в общий бюджет, из которого общими в итоге оказывались только мои взносы. Кирюшина зарплата — когда у него случалась зарплата — в бюджет не попадала никогда: у мальчика были «свои расходы».

Спросите, что стало последней каплей? Я долго думала, что отвечу на этот вопрос красиво: предательство, скандал, драма с битъём сервиза. А последней каплей стал диван. Обычный диван. Мой. Я спала на нём с восьмого класса, и к описываемому моменту он напоминал уже не мебель, а гамак с амнезией: помнил форму всех, кто на нём когда-либо сидел, кроме моей. Я накопила и купила новый. Его привезли в субботу. А в воскресенье я вернулась от стоматолога и обнаружила, что новый диван стоит в комнате Кирюши, потому что «ему нужно, у него спина, он на массаж ходит». На массаж, уточняя, брат ходил к девушке по имени Снежана, и спина там фигурировала в последнюю очередь.

И вот стою я посреди комнаты, смотрю на свой старый диван, который мне вернули, как пленного, — и понимаю, что мне тридцать четыре года. Что я двадцать лет подаю к столу горячее и молчу. И что если я сейчас стерплю, то следующее, что у меня заберут, будет уже не диван. Дальше забирать у меня было нечего, кроме меня самой.

Я молча собрала чемодан. Мать прошла все стадии за вечер: «не выдумывай», «ты куда собралась, ночь на дворе» (было четыре часа дня), «вернётся через неделю» и финальное, в спину, на лестничной клетке: «Эгоистка. Вся в эту свою... породу». В какую породу — я тогда не поняла. Поняла сильно позже. А отец? Отец сделал телевизор погромче. По телевизору шла передача про дикую природу — что-то про то, как детёныши покидают стаю. Символизм у моей жизни всегда был топорный, прямо как у Лебедь-Сафроновой.

Комнату я нашла за три дня — двенадцать метров в четырёхкомнатной коммуналке на Шаболовке, со скрипучим полом, окном в стену и кухней, при виде которой хотелось сделать прививку. Риелтор, показывая её, виновато бубнил про «жильё с историей» и «своеобразный контингент». Я подписала договор, не дослушав. Он не понимал, что показывает мне не комнату с историей. Он показывал мне первые в жизни двенадцать квадратных метров, на которых никто, кроме меня, не будет решать, где стоять дивану.

В ту ночь я уснула на продавленной хозяйской тахте, не раздеваясь, и спала так, как не спала уже лет двадцать. С тех пор прошёл год. Семья называла это «позором» и «общежитием». Я называла это домом — пока не узнала, что настоящий дом, оказывается, всё это время ждал меня в двухстах двадцати километрах от Москвы. Ждал, пах яблоками и хранил на полке банку варенья с моим именем.

Но в тот августовский вечер, после звонка нотариуса, я всего этого ещё не знала. Я знала только, что мне нужно как-то пережить новость размером с жизнь, а в таких случаях у меня с детства было одно проверенное средство.

Я пошла на кухню и достала муку.

Тесто я месила так, что стол подпрыгивал. Психотерапевт стоит две тысячи в час, а пачка муки — тридцать рублей, и эффект, по моим наблюдениям, сопоставимый. Когда мне плохо, я пеку. Когда мне очень плохо, я пеку шарлотку. По состоянию теста в ту ночь любой эксперт определил бы: у пациентки горе, осложнённое наследством.

Здесь нужно рассказать про мою коммуналку, потому что без неё в этой истории ничего не поймёшь.

Квартира наша — четыре комнаты в старом доме на Шаболовке, потолки три двадцать, лепнина, под которой страшно стоять, и коридор, в котором можно играть в боулинг. Население: я; Виолетта; Андрей и Толик. Толика можно не запоминать — он какой-то вечный командировочный, появляется раз в два месяца, забирает почту, оставляет запах одеколона «Шипр» и исчезает. Я долго подозревала, что Толика не существует, а комнату снимает призрак, но Андрей сказал, что призраки столько не платят за коммуналку.

Виолетта — отдельная песня, причём из репертуара ресторана «Узбекистан». Сорок с гаком, халат с драконами, бурная личная жизнь. По паспорту она, как выяснилось позже, Валентина, но «Валентина — это для собеса». Мужчин своих она представляла одинаково: «Это Гена, он очень серьёзный человек». Серьёзные люди менялись в среднем раз в месяц, не меняясь при этом лицом, — я подозревала, что это один и тот же Гена, просто в разных куртках.

При всём при этом человеком Виолетта была не вредным — она была шумная, а это разные вещи. Я в коммуналке быстро выучила разницу. Вредный сосед ест твою еду из общего холодильника и молчит. Виолетта еду не ела — Виолетта приносила. Возвращается, бывало, в два ночи с очередного «серьёзного» свидания, грохочет в коридоре, как духовой оркестр на переправе, а утром у моей двери — коробка конфет «трофейных»: «Этот жмот в ресторан водил, так я хоть конфеты с собой взяла, не пропадать же. Бери, Аська, тебе надо, ты худая, на тебя смотришь — плакать хочется».

Один раз её «очень серьёзный человек» оказался настолько серьёзным, что в полночь начал выяснять отношения на повышенных, с битьём Виолеттиной посуды. Я лежала и слушала сквозь стенку, сжавшись в привычный комок — у меня на крик вообще реакция детская, наследие родного дома, — и прикидывала, звонить ли в милицию. Не понадобилось. Я услышала, как тихо открылась дверь третьей комнаты. Шагов слышно не было — Андрей не умел шуметь, — просто крик оборвался на полуслове, как ножницами отрезали. Потом мужской голос сказал что-то короткое, вопросительное. Потом другой мужской голос, Генин, ответил что-то ещё короче, с готовностью. Потом хлопнула входная дверь — и наступила тишина небывалой чистоты.

Наутро Виолетта, гремя туркой, сказала мне философски: «Вот скажи, Аська, почему все приличные мужики — либо женатые, либо контуженные?» — и кивнула на третью комнату с таким уважением, с каким кивают на сейф. Гена в нашей квартире больше не появлялся. Ни в одной из своих курток.

А в третьей комнате жил Андрей.

Когда я въехала, соседка с драконами охарактеризовала его коротко: «Военный бывший. Станный. Не лезь к нему, и он к тебе не полезет». Характеристика подтвердилась наполовину: я не лезла, он не лез. За первый месяц мы обменялись примерно шестью словами, четыре из которых были «здравствуйте». Высокий, седые виски, ходит тихо, как будто извиняется перед полом. Дверь его комнаты всегда была закрыта, и из-за неё никогда — вообще никогда — не доносилось ни звука. В коммуналке, где Виолеттин телевизор орал, как раненый, а трубы пели хором, эта тишина была почти демонстративной.

Кухню я отмывала неделю. Не из благородства — из инстинкта самосохранения: готовить на той плите без прививки от столбняка было опасно для жизни. Жир на стене за конфорками лежал слоями, как культурные отложения, — археолог бы датировал нижние пласты эпохой позднего Брежнева. Я скребла, отмачивала, скребла снова, купила новую клеёнку на общий стол, отдраила окно — и узнала о себе много нового от Виолетты, которая дважды в день приходила любоваться процессом со словами «делать тебе нечего».

А потом случилось то, во что я до сих пор не очень верю. Соседи начали мыть за собой плиту. Без объявлений, без скандалов, без графика дежурств, приклеенного к холодильнику. Просто чистая плита оказалась заразной. Виолетта, заставшая меня однажды за оттиранием её сбежавшего борща, в следующий раз вытерла за собой сама — воровато оглядываясь, как будто делала что-то неприличное. Я тогда впервые подумала, что, может быть, я не пустое место. Пустое место не меняет территорию вокруг себя. Смешно: тридцать четыре года, высшее образование — а самооценку мне починила газовая плита.

С Андреем мы задружились через пирог. Это случилось через месяц после моего въезда, в октябре. У меня был паршивый день — из тех, когда звонила мать, — и вечером я по своему обыкновению полезла за мукой. Шарлотка вышла правильная: с корицей, с тёмным верхом, яблоки предварительно подержать в духовке отдельно, чтобы дали сок, — бабушкина школа, единственное, что от неё тогда оставалось в моей жизни, хотя я об этом даже не догадывалась. Запах стоял на всю квартиру.

Андрей вернулся с работы в одиннадцатом часу. Я слышала, как хлопнула входная дверь, как он прошёл по коридору к своей комнате, — и как шаги остановились. Потом развернулись. Он появился в дверном проёме кухни и замер. Я обернулась — и осеклась, потому что увидела его лицо.

Знаете, бывают лица, на которые нельзя смотреть в упор, — не потому, что они страшные, а потому, что человек в эту секунду голый. Стоял большой немолодой мужчина с седыми висками и смотрел не на меня и не на пирог. Он смотрел куда-то сквозь стену, и было件нятно, что там, за стеной, у него что-то очень важное и очень мёртвое.

Я ничего не спросила. До сих пор собой горжусь: во мне погибает следователь, но в тот вечер он, слава богу, погиб окончательно. Я просто достала вторую чашку и сказала:

— Садитесь. Давайте чай попьюм.

И он сел.

Мы просидели тогда часа полтора, говорили про какую-то ерунду: про дом, про то, что трубы перестают, если открыть кран на кухне, про Толика-призрака. Пирога он съел половину — извинился, я сказала «и правильно», и это была чистая правда: для меня нет комплимента выше. Уже в дверях, повернувшись спиной, он сказал — в коридор, не мне:

— У матери так же пах. Я когда приезжал — она пекла.

И ушёл. И только месяца через три, по слову, по полслова, я собрала из него остальное: что мать умерла, когда он был на второй чеченской, и что хоронили её соседи, потому что его не успели найти и вытащить; что на войне у него осталась вся его настоящая семья — пятеро их было, на фотографии, которая стоит у него в комнате на столе; что про войну он говорит три фразы: «Служил». «Было тяжело». «Хреново было» — и закрывает тему так, что второй раз не спросишь.

Про жену, которая ушла, пока он лежал в госпитале после контузии, он не рассказал ни разу. Это мне Виолетта поведала шёпотом, со ссылкой на предыдущую соседку. Подробностей не знаю и знать не хочу: есть истории, от которых даже у чужих болит.

С того пирога и пошло. Без деклараций и душевных разговоров про чувства — просто я стала готовить «случайно лишнее», а он стал «случайно проходить мимо» кухни в правильное время. Просто у меня перестал заедать замок, а у моего окна перестало дуть из щелей, причём и то и другое починилось как бы само, пока я была на работе.

Один раз я застала его за этим его тихим ремонтом — вернулась с работы раньше времени и обнаружила в своей комнате: дверь нараспашку, на подоконнике инструменты, разложенные с аптечной ровностью, а сам Андрей сидит на корточках перед моей форточкой и что-то в ней меняет. Форточка свистела с октября — я привыкла и считала это голосом жилья.

— Дуло у тебя, — сказал он, не оборачиваясь и не извиняясь. — Уплотнитель сгнил. Спать в сквозняке — потом по госпиталям. — Закончил, собрал инструменты в той же аптеч-

ной последовательности, у двери задержался: — Замок твой я тоже посмотрел ещё в том месяце. Не спрашивай разрешения, всё равно не умею.

И ушёл. Я стояла посреди комнаты, в которой больше не свистело, и не могла понять, что я чувствую. У меня в жизни просили, требовали, занимали и забирали. А чтобы человек молча, без объявлений, чинил мою жизнь по периметру — такого со мной не случилось никогда, и я не знала, как на это реагировать. Реагировать оказалось не нужно. В том и фокус.

Как-то поздним вечером позвонила мать, часов в десять, в своём жанре — сорок минут о том, что я загубила свою жизнь, Кирюшины перспективы и её здоровье, — и я потом сидела на общей кухне над остывшим чаем, глядя в клеёнку, и привычно пересобираала себя по частям. Андрей вышел со своей смены за полночь. Посмотрел. Ничего не спросил. Поставил чайник, достал две чашки — мою он уже знал, с щербинкой, — заварил, сел напротив и стал пить. Молча. Полчаса мы пили чай в полном молчании, и где-то на двадцатой минуте я с изумлением обнаружила, что части мои собрались сами, без моего участия. Уходя, он вымыл обе чашки и сказал единственное за весь вечер слово: «Нормально». Это был не вопрос. Это был диагноз, прогноз и рецепт сразу. Я кивнула: нормально. И ведь не соврала.

Просто, когда мне звонила мать и я потом час сидела на кухне, глядя в одну точку, Андрей молча ставил чайник, наливал две чашки и сидел рядом. Не утешал. Не лез. Сидел. Вы не представляете, какая это роскошь — человек, который умеет просто молча сидеть рядом.

Мать, кстати, узнав из телефонного разговора, что у меня появился друг-сосед, оживилась: «Военный? Пьющий, наверное. Смотри, такие женятся на жилплощадь». Я тогда впервые в жизни сделала то, чего не делала никогда: положила трубку посреди материнской фразы. Руки тряслись полчаса. Но, доложу я вам, есть в этом что-то — заканчивать разговор первой. Что-то от прыжка с парашютом.

...Тесто тем временем отомстило мне за избыточную терапию — шарлотка вышла плотная, как биография. Часы показывали час ночи. И конечно, в кухонном проёме нарисовался Андрей: халат поверх тельняшки, прищур.

— У тебя пироги по ночам — это сигнал бедствия, — сказал он, усаживаясь на свой стул. Стул я мысленно давно записала на него — как в деревне: место главы стола. — Рассказывай.

— Андрей, у меня умерла бабушка, — сказала я.

И разревелась. Второй раз за день, рекорд сезона. Он не пошевелился, не полез обнимать — за это отдельное спасибо, я от объятий в слезах рассыпаюсь окончательно. Дождался, пока высморкаюсь в кухонное полотенце (простите меня все, кто им потом вытирался), и сказал:

— Так. С начала и по порядку.

И я рассказала по порядку. Про звонок, про нотариуса с сухим голосом, про Суздаль, про дом, про три недели сроку. Про то, что бабушка, оказывается, помнила меня всю жизнь, а я двадцать лет считала, что забыла. Про маму, которая знала с мая. На этом месте Андрей, до того слушавший неподвижно, медленно побарабанил пальцами по столу — раз, другой. Я уже знала этот жест. Он означал высшую степень оценки происходящего и заменял абзац мата.

— Поеду во вторник к нотариусу, — закончила я. — А дальше не знаю. Мать скажет продавать.

— А ты?

— А я не знаю, Андрей. Я этот дом двадцать пять лет не видела. Может, там и посмотреть не на что. Может, правильно — продать, деньги поделить, и все довольны...

— Стоп, — сказал он. — Ну-ка ещё раз. Кто — все?

Я открыла рот и закрыла. Вот так он это и делает, кстати. Никаких лекций, никакой психологии — один вопрос, после которого твоя стройная картина мира осыпается, как штукатурка с нашего потолка.

— Тебе там было хорошо? — спросил он. — В детстве, у неё.

— Мне там было лучше всех в жизни, — честно сказала я.

— Тогда съезди и посмотри. Не на дом. — Он встал, поставил чашку в раковину и вымыл — приучила. — На себя там. Остальное решится само.

Уже из коридора он обернулся:

— Шарлотку добей. И это... соболезную. По бабушке твоей.

Вот и весь разговор. А я потом долго сидела на кухне, смотрела на плотную, как биография, шарлотку и думала, что за год этот молчаливый человек сказал мне больше нужных слов, чем родная семья за тридцать пять лет. Семья вообще странная штука. Иногда она достаётся по крови. А иногда её собираешь по коммуналкам, по кухням, по чашкам чая в плохие вечера — по человеку, по коту, по голосу в телефоне. И ещё неизвестно, какая конструкция надёжнее. Моя кровная, например, не пережила появления дивана.

Во вторник я поехала в Суздаль.

Опущу дорогу, скажу только, что междугородний автобус — это аттракцион «проверь свой вестибулярный аппарат и веру в человечество», а попутчица с курицей в фольге была, кажется, со мной нечестна, когда клялась, что курица «совсем не пахнет». Двести двадцать километров мы с курицей проделали как родные. К Суздалью я подъезжала проголодавшаяся и злая, что для моих переговоров с судьбой, как потом выяснилось, было оптимальной формой.

Город ударил меня без замаха. Автобус вывернул с трассы, и за окном поднялись купола — много, сразу, в утренней дымке, — и у меня в груди что-то ёкнуло и поехало, как будто тронулся давно стоявший на запасном пути состав. Я помнила эти купола. Не головой — головой я помнила смутно. Я помнила их тем местом, которым десятилетняя девочка смотрела на них с забора, наплевав на бабушкино «свалишься, коза».

Память вообще включалась тут от любого толчка, как старый телевизор от удара ладонью. Автобус прополз мимо торговых рядов — и я вспомнила, как бабушка водила меня сюда за мёдом и говорила продавщице: «Ты мне в эту банку недолей, а то знаю я твою щедрость». Как мы покупали с лотка горячие пирожки и ели их на ходу, что дома, в Долгопрудном, было категорически запрещено по соображениям гигиены, приличий и «что люди подумают». Как на колокольне ударили вдруг во все колокола, я испугалась и вцепилась в бабушкину руку, а она руку не выдернула, не сказала «не позорься», а наклонилась и объяснила в самое ухо: «Это они не на тебя, Аська. Это они для тебя». Я потом весь август была уверена, что колокола звонят лично для меня, и до сих пор, если честно, до конца в этом не разубедилась.

Нотариальная контора располагалась в центре, в старинном доме с метровыми стенами. Вера Павловна Корнилова оказалась ровно такой, как голос: сухая, прямая, лет пятидесяти, очки на цепочке. Кабинет — стерильный, как операционная. Единственной человеческой деталью была фотография на стеллаже: Вера Павловна, на двадцать лет моложе, смеётся в обнимку с высокой старухой. Я узнала эту старуху раньше, чем поняла, что узнала. Спина. Такую спину на области было не сыскать.

— Вы дружили, — сказала я.

— Тридцать лет, — ровно ответила Вера Павловна, перехватив мой взгляд. И добавила тоном, которым, видимо, отшивала вопросы про эту фотографию десятилетиями: — Приступим. Времени у вас, напоминаю, три недели.

Дальше был час бюрократии, которую я вам пересказывать не стану — кто оформлял наследство, тот в цирке не смеётся. Дом, участок одиннадцать соток, «всё движимое имущество, находящееся в доме на момент смерти». Я подписывала, кивала и чувствовала себя самозванкой: вот сейчас войдёт настоящая наследница, а меня попросят.

А потом Вера Павловна открыла сейф и достала конверт.

— Это вам. Лично в руки — так в завещании. — Она помедлила и впервые за час посмотрела на меня не как на посетительницу. — Капитолина Андреевна писала его при мне. Дважды переписывала. Говорила: надо, чтобы без соплей, а с соплями выходит.

Конверт был подписан крупно, почти печатно: «Асе». Не Анастасии Викторовне. Асе. Внутри лежал один лист в клетку, исписанный с одной стороны.

«Асенька. Раз ты это читаешь, значит, Вера тебя нашла, а я — нет. Не сердись на меня за это. Я тебя искала, но искала, видать, плохо, по-стариковски. А потом думала: выросла девка, своя жизнь, чего я полезу со своими яблоками.

Дом теперь твой. Делай с ним что хочешь, только сперва поживи в нём немножко. Хоть недельку. Он хороший, что бы тебе про него ни наплели. Про меня, наверное, тоже наплетут — не верь и этому.

А если у тебя духу хватит — а у тебя хватит, ты из нашей породы, хоть тебе всю жизнь и врали, что это плохо, — найди того, кто солгал. Ты поймёшь, о чём я. В доме всё есть.

Целую тебя, коза.

Баба Капа.

P.S. Варенье в кладовке. Твоё любимое, с белым наливом, — на верхней полке, за смородиновым. Спрятала, а то Раиска повадится».

Не знаю, сколько я просидела над этим листком. Знаю, что Вера Павловна дважды предлагала мне воду и один раз — коньяк, из чего я заключаю, что выглядела я неважно. «Без соплей» у бабушки получилось. У меня — нет.

— Вера Павловна, — спросила я, когда снова смогла говорить. — Кто солгал? О чём она?

Нотариус сняла очки и долго протирали их платком. Стёкла, на мой взгляд, были чистые.

— Я юрист, Анастасия Викторовна. Я оперирую фактами, а фактов у меня нет. — Она водрузила очки на место. — А как человек скажу вам три вещи. Первое: Капитолина была самым здравомыслящим человеком из всех, кого я знала, что бы ни говорили в этом городе. Второе: за дом вам уже к концу недели предложат хорошие деньги, и предлагать будут настойчиво. Удивитесь — спросите себя, откуда такая прыть вокруг «проклятого» дома. — Она поднялась, давая понять, что приём окончен. — И третье. Если соберётесь продавать — сначала поживите в нём. Это не я прошу. Это она просила передать. На словах.

— А что говорят в этом городе? — спросила я уже в дверях.

— Вы наследница, — сухо сказала Вера Павловна, и аудиенция закончилась. — Наследуйте. Остальное вам расскажут и без меня. Здесь это любят.

До автобуса оставалось два часа, и ноги сами понесли меня на Старую улицу. Я не собиралась заходить — посмотрю снаружи и поеду, так я себе сказала.

Улица оказалась ровно там, где её помнили мои десять лет: свернуть от торговых рядов — и через пять минут ты в другом городе, жилком, непарадном, куда туристы не догадываются сворачивать. Дома в палисадниках, поленницы, смородина вдоль заборов. Дом двадцать один стоял в середине улицы, плечом к плечу с соседями, за двумя старыми деревьями. Голубой — того цвета, каким бывает летнее небо к вечеру, — с зелёными резными наличниками, с кружевной светёлкой под высокой крышей, с кирпичным цоколем и глухими зелёными воротами сбоку. Не развалина — дом как дом, нарядный даже, ну может краска облупилась, да окна были наглухо занавешены изнутри, и от этого у него было лицо человека, который немного состарился и зажмурился.

Я стояла у калитки и не могла поднять руку, чтобы её толкнуть. Глупость, скажете вы, — твой дом, документы в сумке. А у меня было чувство, что входить надо как-то правильно, как-то по-другому, не между автобусами, не с курицей в анамнезе. Что этот дом ждал меня двадцать пять лет — и заслужил, чтобы я пришла к нему не на два часа.

Из сада тянуло яблоками. Падалицей, тёплой травой, тем самым запахом, по которому я, оказывается, тосковала двадцать лет, просто не знала, как он называется. У запахов вообще лучшая память на свете. Фотографии врут, дневники врут, люди врут постоянно — а запахи помнят всё.

Где-то за домом скрипнула калитка. Спокойно так, по-хозяйски, как будто кто-то вышел из сада меня встречать. Я вздрогнула и заглянула за угол — никого. Ветка яблони покачивалась.

— Ветер, — сказала я вслух специально для себя. — Это называется ветер.

Сказала — и сама услышала, что вышло неубедительно. Редактор бы пометил на полях: «Не верю. Подумайте над формулировкой».

В Москву я вернулась к ночи. А в четверг мне позвонила мать — голосом, которого я не слышала лет двадцать. Тёплым.

— Асенька, — сказала мать, и я насторожилась, как сапёр. — Доча. Ты когда к нам приедешь? Я пирог поставлю, твой любимый. Надо же всё обсудить по-семейному.

«Асенька» я не была с детского сада. «Дочей» — вообще никогда, доча у нас Кирюша. А любимый мой пирог мать не знала отродясь — да и откуда, если все пироги в той квартире пекла я.

— Обсудить что, мам? — спросила я, хотя ответ знала.

— Ну как же. Наследство твоё. Это же надо всё грамотно решить, чтобы по уму. Папа волнуется.

Папа, который волнуется, — это было сильно. Папа не волновался, даже когда я в восемь лет потерялась на ВДНХ. В трубке слышался телевизор и Кирюшин голос, спрашивающий, есть ли что пожарить.

— Приеду в субботу, — сказала я.

Знаете, зачем поехала? Не из надежды даже. Из любопытства, почти научного. Мне было интересно посмотреть на людей, которые четыре месяца знали, что умерла баба Капа, четыре месяца знали, что меня ищет нотариус, — и молчали. Интересно было послушать, как они это объяснят.

Зря я, что ли, редактор. Должна же я была оценить уровень текста.

Текст оказался уровнем ниже плинтуса, причём с порога. На столе стоял магазинный наполеон (любимый пирог, ага), мать была в парадном халате и улыбалась так, что у меня заломило зубы. Отец жал мне руку как-то официально, словно я пришла наниматься на работу. Кирюша обнял меня за плечи и сказал «сестрёнка». Последний раз он называл меня сестрёнкой, когда ему было нужно пятнадцать тысяч до зарплаты, которой у него не предвиделось.

Продержались они минут двенадцать. Я считала по кухонным часам — было интересно, на какой минуте у семейного тепла кончится заряд. На двенадцатой мать разлила чай и приступила:

— Мы тут с папой подумали... Дом этот суздальский — это же обуза, Ась. Старьё, гниль, налоги. Туда вкладывать и вкладывать. Продать его надо, пока покупатель есть, и деньги по уму пристроить. Кирюше как раз на квартиру не хватает, ты же знаешь, они со Снежаночкой расписываться надумали...

Дальше я слушала, как слушают давно знакомый текст, — по диагонали. Деньги предлагалось «пристроить» в квартиру брату. Мне за это полагалась благодарность семьи и, цитирую, «и тебе спокойнее, не мотаться». Отец кивал в такт. Кирюша смотрел в телефон, но в нужных местах поднимал голову и делал лицо человека, который женится.

— А откуда покупатель? — спросила я тихо.

— Что? — сбилась мать.

— Ты сказала: продать, пока покупатель есть. Откуда ты знаешь про покупателя, мам? Я про дом узнала неделю назад. А ты, получается, уже и покупателя нашла?

Повисла пауза. Хорошая, качественная пауза — я бы в рукописи такую похвалила. Мать поджала губы, и тёплая «Асенька» осыпалась с неё, как штукатурка:

— Ну знала я, знала! С мая знала, мне эта нотариусша звонила! И что?! Что я должна была — тебе докладывать, чтобы ты всё бросила и помчалась в эту дыру?! Я сначала выяснить хотела, как лучше сделать, я юристу показывала, между прочим, можно ли по закону...

— Можно ли по закону — что? — спросила я всё так же тихо.

Мать осеклась. На один короткий, прекрасный миг за её плечом я увидела отца — и он смотрел в стол. А Кирюша перестал листать телефон.

— ...переоформить, — твёрдо закончила мать, глядя мне в глаза. — На семью. Чтобы по уму.

Вот, собственно, и всё, что вам нужно знать о моей семье. Четыре месяца меня не искали не потому, что забыли. А потому, что выясняли, нельзя ли сделать так, чтобы искать не пришлось вовсе.

И тут со мной случилось странное. По всем законам жанра мне полагалось разрыдаться или заорать. А мне стало спокойно. Знаете, как бывает, когда долго-долго болит зуб, а потом врач говорит: всё, нерва нет. Вот у меня умер какой-то нерв — тот самый, который тридцать пять лет дёргался: заслужи, объясни, будь удобной, и тогда тебя, может быть... Не «может быть». Уже выяснили.

Я встала и взяла сумку.

— Дом я не продам, — сказала я. — Это первое. Второе: я беру отпуск и еду туда жить. И третье, мам. Бабушка в письме назвала меня «нашей породой». Я всю жизнь думала, что это у нас ругательство. А это, оказывается, комплимент.

— Какое ещё письмо? — быстро спросила мать.

Но я уже выходила в прихожую. В спину мне летело привычное: эгоистка, всю жизнь только о себе думаешь. Вырастили на свою голову, вся в эту... В дверях я обернулась:

— Вот именно, мам. Вся — в эту. Спасибо, что заметила первая.

На лестнице меня догнал Кирюша. Я приготовилась к продолжению банкета, но брат потоптался, заглянул мне за плечо — нет ли матери — и выдал неожиданное:

— Сестрён... Ась. Ты это. Не бери в голову про квартиру, это мать всё мутит, я Снежане вообще ещё предложение не делал. — Он почесал затылок и совсем по-детски добавил: — А дом — он какой? Ну, нормальный? Ты фотки пришли, что ли.

И ушёл обратно, шаркая тапками, любимец семьи, солнце наше. А я стояла на лестнице и думала, что, может быть, не всё потеряно. Не у нас с ним — у него.

Внизу хлопнула дверь подъезда. Начиналась новая глава моей жизни, и на ближайшие три недели у неё были вполне конкретные планы: отпуск за свой счёт, сумка, автобус — и дом, который стоял зажмурившись и ждал, когда я наконец догадаюсь приехать.

Отпуск мне дали со скрипом — как всё в нашем издательстве, включая дверь главного редактора.

— На месяц?! — Главный посмотрел на меня поверх очков взглядом человека, которому сообщили, что земля плоская. — Ветрова, а Лебедь-Сафронова? У неё сдача через три недели! Она же, кроме тебя, никого к телу не подпускает!

— Передадите Костику, — безжалостно сказала я. Костик был молодой, полный сил и ещё верил, что авторов можно перевоспитать. — Ему полезно. Для смирения.

— Она его съест.

— Подавится. У него правок больше, чем у меня, он по молодости ещё за качество борется.

Главный покрутил в руках карандаш, посмотрел на меня внимательно и неожиданно спросил человеческим голосом:

— У тебя там что, серьёзное что-то?

— У меня там наследство, Геннадий Борисович. Дом. И, кажется, целая жизнь, которую я проспала.

— Ну-ну, — сказал главный, подписывая заявление. — Смотри только, чтобы как у нас в прошлогоднем детективе не вышло: поехала наследница в глухомань, а там маньяк, секта и чёрные риелторы.

— Тот текст я редактировала, — напомнила я. — Маньяка мы ещё тогда вычеркнули за неправдоподобность.

Провожали меня из редакции, как в экспедицию. Леночка сунула в сумку шоколадку «на дорожку», вторую «на обратную дорожку» и распечатку моего гороскопа на месяц вперёд — «там всё хорошо, я проверила, один только Марс какой-то мутный, ты его игнорируй». Костик принял у меня папку Лебедь-Сафроновой обеими руками, как принимают сапёрный груз, и спросил шёпотом: «А правда, что она кусается?» — «Неправда, — честно сказала я. — Она плачет. Это хуже». Главный вышел из кабинета, лично, что случалось дважды в год, пожал мне руку и сказал: «Месяц, Ветрова. Месяц — и чтоб как штык». Знал бы он, что выдаёт мне этим рукопожатием, — наверное, всё равно бы выдал. Геннадий Борисович ворчун, но не жадный.

А я ехала домой на Шаболовку и ловила себя на странном: у меня было чувство кануна. Не отпуска — кануна. Как в детстве тридцать первого августа, когда портфель собран, форма отглажена и завтра начнётся всё новое сразу. Я списала это на нервы. Зря, между прочим: чутью, как потом выяснилось, можно доверять.

В пятницу, за день до отъезда, мне позвонили с незнакомого московского номера. Бархатный мужской голос представился Вадимом из агентства недвижимости с названием из ряда «Гарант-Эталон-Престиж» — из тех названий, которые специально придумывают, чтобы их нельзя было запомнить и проверить.

— Анастасия Викторовна, поздравляю вас с вступлением в наследство! — Голос лучился так, что хотелось зажмуриться. — У нас есть клиент, очень заинтересованный в объектах исторической застройки в Суздале. Готов рассмотреть ваш дом по цене выше рыночной. Существенно выше.

— Любопытно, — сказала я, и это была чистая правда. — А скажите, Вадим, откуда у вас мой номер?

Пауза была короткая, профессиональная — но была.

— Ну как же, базы объектов, открытые источники...

— Вадим, — сказала я ласково, голосом, которым обычно сообщаю авторам, что сцену на сорок страниц придётся снять целиком. — Я вступила в наследство четыре дня назад. В реестре изменения ещё не отразились — я проверяла вчера. В открытых источниках нет ни дома, ни меня, ни моего телефона. Так откуда у вас мой номер?

В трубке поскрипела тишина, а потом бархат свернулся:

— Я уточню информацию и перезвоню.

И короткие гудки. Я сидела с телефоном в руке, и смешно мне почему-то не было. Четыре дня. Дому моему сто лет, он тридцать лет простоял со своей репутацией нечистого места, и за эти годы, насколько я понимала, никто не ломился его покупать. А тут — четыре дня, и «существенно выше рыночной». Либо в Суздале случился риелторский ренессанс, либо... Либо формулировку «не всё так, как кажется» мне предстояло вписать не в чужую рукопись, а в собственную жизнь.

В ночь перед отъездом мне приснился сон. Скажу честно: я к снам отношусь как редактор — то есть никак. Сон не несёт сюжетной нагрузки, говорила я авторам, вычёркивайте. Авторы рыдали, но вычёркивали. Так вот, этот сон я бы не вычеркнула.

Мне снилось лето, которому я знала точную дату: восемьдесят четвёртый год. Сад. Утро, трава ещё мокрая, у меня холодные щиколотки, и я почему-то знаю, что мне влетит за сандалии. Баба Капа стоит под старой антоновкой с лопаткой в руке — той самой, садовой, с зелёным черенком, — а в другой руке у неё жестяная коробка из-под монпансье, синяя, с потёртой

барыней на крышке. Я эту коробку помнила! В ней жили пуговицы, я в них играла в магазин. А во сне в ней лежало что-то другое, не пуговичное — она была тяжёлая, и внутри глухо стучало.

— Гляди, коза, — говорит баба Капа и опускает коробку в ямку между корнями. — Это будет наш с тобой секрет. Наш — поняла? Больше ничей. Запомни место: от ствола — два моих шага на колодец. Повтори.

— Два шага на колодец, — повторяю я и спрашиваю шёпотом: — Баб Кап, а что там?

Она засыпает ямку, прихлопывает землю лопаткой и смотрит на меня сверху — высокая, прямая, в платке. И говорит фразу, от которой я просыпаюсь:

— Там то, что будет ждать. Умные вещи умеют ждать, Аська. Дольше людей.

Я открыла глаза в своей комнате на Шаболовке. За окном серело. Сердце колотилось, как после бега, а в комнате — слушайте, я понимаю, как это звучит, — в комнате пахло яблоками. Не лежалыми магазинными, а теми, садовыми: тёплой падалицей, травой, августом. Я даже встала и проверила подоконник — мало ли, может, я в полусне с вечера притащила откуда-то яблоко. Подоконник был пуст, на нём сидел только Леночкин кактус, который, поручусь, яблоками не пахнет.

«Это называется обонятельная память, — сказала я себе, забираясь обратно под одеяло. — Стресс плюс воспоминания. Научный факт. Подумайте над формулировкой».

Формулировка не помогла. Засыпала я с чётким, абсолютно непрошибаемым ощущением, что сон был не совсем сном. Что мне его не показали даже, а напомним.

Утром в коридоре меня ждал Андрей. Это само по себе было событием: в восемь утра в субботу его смена ещё не заканчивалась, а он стоял у моей двери — одетый, собранный, с таким лицом, с каким, наверное, провожал когда-то колонны.

— Так, — сказал он вместо «доброго утра». — Газ в баллоне там проверь сразу. Проводку не трогай до электрика. Колодец если есть — воду сперва прокипятить, потом уже геройствуй.

— Есть прокипятить, товарищ командир.

— Не паясничай. — Он помолчал и протянул мне свёрток. Что-то тяжёлое, завёрнутое в пакет из «Пятёрочки» — Андрей и сантименты вообще существовали в параллельных мирах. — Возьми.

В пакете лежал фонарь. Армейский, угловатый, тяжёлый, как утюг, с какой-то скобой и рифлёной кнопкой — вещь, по виду пережившая обе чеченские и готовая пережить меня.

— Зачем? У меня в телефоне фонарик есть.

— В телефоне у тебя баловство, а не фонарик. — Андрей сунул руки в карманы. — Дом старый, деревня, подпол. Свет вырубят — а он у тебя есть. Батарейки свежие, запасные в кармашке.

— Андрей, в Суздале не вырубают свет, там туристы и ЮНЕСКО.

— Возьми, — сказал он тоном, закрывающим прения. — Пригодится.

И, уже разворачиваясь к своей двери, добавил в стену — он всегда самое главное говорил в стену:

— Звони. Раз в день. Не позвонишь — приеду разбираться, а я с дороги злой.

Вот так меня впервые в жизни провожали из дома. С инструкцией по технике безопасности, фонарём весом в кило двести и обещанием приехать разбираться. Если бы меня спросили, как выглядит любовь, я бы теперь знала, что отвечать: у неё рифлёная кнопка и запасные батарейки в кармашке.

Дорогу опустим — отмечу только, что на этот раз вместо курицы со мной ехали два паломника, всю дорогу спорившие, можно ли в пост сухарики со вкусом холодца. К Суздалю я подъезжала во всеоружии богословских знаний и с ключами, которые всю дорогу грела в кулаке, как птицу.

Перед домом я постояла ровно минуту. Потом сказала себе: «Ну, здравствуй», толкнула калитку и вошла.

Сад зарос, но не одичал — было видно, что ещё весной его держала твёрдая рука. Дорожка к крыльцу, выложенная плоским камнем. Колодец с жестяной крышей. Старая антоновка — я посмотрела на неё, и у меня дрогнуло внутри: между её корнями, в двух стариковских шагах на колодец, лежал мой сон. «Потом, — сказала я себе. — Не всё сразу. Сначала — дом».

Замок открылся легко, дверь не скрипнула. И я вошла в дом, в котором не была двадцать пять лет.

Знаете, чего я боялась? Запустения. Пыльных простыней на мебели, мышиного запаха, мёртвой стылой пустоты — всего того, что бывает в домах, где умер хозяин. А вошла я — в жизнь.

В доме пахло деревом, сухими травами, воском и — слабо, на самом дне — яблоками. На вешалке висел бабушкин плащ и платок. В горнице на столе были очки — просто лежали поверх раскрытой книги, дужками вверх, как их снимают на минутку, на закладке доспать страницу. Я подошла и посмотрела: Чехов, том писем. Закладка — фантик от «Раковой шейки», расправленный и сложенный вдвое. На подоконниках — герань, живая, политая. На спинке кресла — недовязанный носок со спицами. Часы-ходики стояли, и от их молчания тишина была глубокая, как колодец.

В простенке между горницей и кухней я нашла дверной косяк — и застряла возле него на четверть часа. На косяке были зарубки. Карандашные чёрточки с подписями, протёртые от времени, но читаемые. Нижние — «Тане 5», «Тане 7», «Таня 12» — поднимались лесенкой и обрывались на «Таня 16, невеста уже». А ниже, отдельной семьёй, шли мои: «Ася 10, июнь», «Ася 10, август» — за одно лето две чёрточки, я росла тут со скоростью гороха, на бабушкиных-то харчах. И между этими двумя семьями зарубок — двадцать сантиметров пустого косяка. Двадцать сантиметров и двадцать пять лет, в которые этот дом никого не измерял.

Дверь в дальнюю комнату — маленькую, окнами в сад — была прикрыта неплотно. Я зашла и поняла: Танина. Не музей, не алтарь — бабушка была не из тех, кто молится на закрытые комнаты, — просто комната, в которой убирались, но которую не трогали. Кровать с шишечками, этажерка с книжками по искусству, на стене — акварель: наш дом, наш сад, антоновка, всё узнаваемое, только живое и летнее. В углу подпись тонким карандашом: «А. Снегирёв. Капитолине Андреевне от нас. 77 г.» Алёша рисовал. Дом, который через год его убьёт, — он рисовал его в подарок тёще, с любовью, с тенью от яблони поперёк дорожки.

Я аккуратно прикрыла дверь. С этой комнатой надо было знакомиться постепенно, как с человеком после долгой разлуки.

Это был дом человека, который вышел на минутку. За хлебом. К соседке. Сейчас стукнет калитка, и с порога: «Явилась, коза? Чайник ставь».

На кухне я простояла дольше всего. Буфет с гранёными стопками и чашками «в горох» — моя, детская, с отбитой и заботливо зашкуренной ручкой, стояла отдельно, на верхней полке, как в почётном карауле. Клеёнка в жёлтый подсолнух, протёртая до белизны на бабушкином месте — там, где локти. Солонка-курица. Прихватки, связанные из старых Таниных колготок, — я узнала их и сама испугалась, что узнала. На гвоздике у плиты висел календарик за этот год, и до четырнадцатого марта каждый прожитый день был перечёркнут косым крестом — аккуратно, по-хозяйски: день прошёл, и слава богу. После четырнадцатого кресты кончались. Календарь висел и ждал вместе со всем домом, и слепых его дней — без крестов — накопилось уже полгода. Я взяла с гвоздика карандашик на верёвочке... на бечёвке, поправились я, у бабушки всё на бечёвке... и поставила крест на сегодняшнем числе. День прошёл. Хозяйка дома. Считаю дальше. Потом, уже зимой, я узнаю от Раисы, что этим крестам сто лет в обед: так делала ещё бабушкина мать, а до неё — её. Не от тоски, нет. Из учёта. Наша порода всегда вела счёт прожитому — должно быть, поэтому у нас так плохо получается списывать дни

в убыток. Любые. Даже самые тёмные. Особенно тёмные: их-то и надо считать внимательнее всего, чтобы однажды предъявить к оплате.

Я ходила по комнатам на цыпочках, как в детстве, когда бабушка спала после обеда. Вот печь — белёная, тёплая даже на вид, с той самой голландской стенкой в изразцах, синие птицы на белом. Я вспомнила, как грела об неё спину. Вот фотографии на стене: незнакомый мужчина с орденскими планками; женщина с косой вокруг головы; смеющаяся девушка рядом с парнем в костюме, у девушки бабушкин подбородок — про эту пару я знала что-то смутное, что-то взрослое, о чём при мне обрывали разговор. Вот моя фотография — третий класс, бант размером с голову. Стоит не среди прочих — отдельно, на комод, в деревянной рамке, протёртой от пыли.

Двадцать лет я думала, что меня забыли. Меня не просто помнили. Со мной, похоже, жили.

Добил меня не комод и не очки. Добила кладовка. Я открыла её уже в сумерках, искала, чем накрыться на ночь, — и увидела полки с закатками. Ряды банок, подписанных бабушкиным крупным почерком на белых наклейках: «Огурцы 08», «Лечо», «Смородина». Я скользила по ним глазами и на верхней полке, за тремя смородиновыми, увидела банку, на которой было написано не название.

На ней было написано: «Для Аси».

Варенье из белого налива. Моё. То самое, которое я в десять лет ела ложкой из банки, пока не отобрали. Сваренное прошлым летом женщиной восьмидесяти лет, которая не знала ни моего адреса, ни моего телефона, ни того, жива ли я вообще для неё, — и которая всё равно каждое лето варила банку моего варенья и ставила за смородину, чтобы не съела Раиска.

Вот тут я и села на табуретку в кладовке. И заревела так, как не ревела, кажется, никогда: в голос, не вытирая лица, раскачиваясь, как дура, над банкой варенья. Я оплакивала бабушку, и двадцать пять пустых лет, и письма, которые где-то сгинули, и девочку с бантом, которая всю жизнь заслуживала любовь, — а её, оказывается, не надо было заслуживать. Она просто стояла тут, на верхней полке, за смородиновым. И ждала. Умные вещи умеют ждать. Дольше людей.

И пока я ревела над банкой, то лето вернулось ко мне целиком — не картинками, а подряд, как возвращается вода в перекрытую трубу.

Меня привезли сюда в июне, десятилетнюю, с фанерным чемоданчиком и инструкцией на три листа — что мне нельзя. Нельзя было почти всё. Мать сдала меня с рук на руки, как сдают в багаж, сказала «с ней строго, она хитрая» — и уехала к своему новорождённому солнцу. Я стояла посреди этого двора, смотрела в землю и ждала, когда начнут воспитывать.

А баба Капа прочла инструкцию при мне, всю, шевеля губами. Потом сложила вчетверо и подсунула под ножку стола — «а то шатается». И сказала: «Значит, так, коза. Правил у меня два. Первое: за стол с грязными руками не садятся. Второе: врать мне не надо, я всё равно вижу. Остальное — можно». Я не поверила. Я неделю проверяла — лазила, куда нельзя, трогала, что страшно, ждала, когда заорут. Не заорали. Про разбитую чашку я призналась на третий день сама — просто чтобы проверить второе правило. Баба Капа сказала: «Молодец, что сказала. Чашку жалко, тебя — жальче. Осколки мети» — и всё. И вот тут я пропала.

Это было лето, когда выяснилось, что я всё умею. Дома я была безрукая, бестолковая и «вся не в породу» — а тут за июнь оказалось, что я умею полоть, не выдирая морковку, снимать пенки с варенья (главная должность лета, ответственнее не было), отличать антоновку от штрейфлинга по листу, а не по яблоку, и читать вслух так, что баба Капа откладывала вязание. Мы читали по вечерам, на кухне, под ходики: я — вслух, она — носок и слушать. «Капитанскую дочку» мы прожили вдвоём, как соседку. Над «Муму» я ревела, а баба Капа сказала: «Рев. Над таким не реветь — последнее дело».

Один раз я подралась. С мальчишками у реки — они камнями кидали в кошку, я полезла, мне расквасили нос, я их доцарапала до крика. Домой пришла парадная: нос распухший, сара-

фан порванный, в кулаке — трофейная бескозырка. Готовилась к казни по всем домашним стандартам. Баба Капа осмотрела меня, развернула за плечо, заклеила нос подорожником и сказала фразу, которую я потом двадцать пять лет считала ругательством, потому что дома её произносили только так: «Ну что. Наша порода». И в первый раз в жизни я услышала, что это звучит как медаль.

А в октябре меня увезли. Я цеплялась за калитку — буквально, руками, позорно, выла в голос. Баба Капа не ревела — стояла прямая, как всегда, только сказала матери: «Людмила, девочку привози. Девочке тут хорошо». И мать пообещала. Из машины я смотрела назад, пока дом не скрылся за поворотом, и баба Капа всё стояла у калитки — высокая, в платке, с рукой, поднятой не по-машущему, а по-другому: как ставят точку, которая на самом деле запятая. Больше меня не привезли. Никогда. А я двадцать пять лет думала, что это она не позвала.

Не знаю, сколько я так просидела. Очнулась от звука. Со стороны крыльца отчётливо проскрипела доска. Потом вторая. Кто-то поднимался по ступеням — неторопливо, по-хозяйски. В пустом доме, в чужом городе, в сумерках. Я замерла с банкой в обнимку, и все городские страхи разом встали по стойке смирно: риелтор? воры? «нечистая сила», про которую «весь город говорит»?

В дверь не постучали. Её — я хорошо это слышала — попробовали лапой.

Потом из-за двери сказали: «Мяу». Но не вопросительно, как просят, а утвердительно, как требуют. Открывайте, мол. Своих держите на пороге.

Я открыла. На крыльце сидел кот. Рыжий, огромный, с разбойничьей мордой и рваным левым ухом, — и смотрел на меня снизу вверх взглядом завхоза, принимающего нового сотрудника. За его спиной на перилах лежал последний свет заката.

— Ты кто? — спросила я.

Кот молча прошёл у меня между ног в дом, прошёлся по горнице, проверил углы, запрыгнул на кресло рядом с недовязанным носком, потоптался и лёг. По всему выходило, что вопрос «ты кто» в этом доме следовало задавать мне.

И тут я вспомнила. Листок на рабочем столе, неделю назад, шок после звонка, и среди каракулей — «КУПИТЬ КОРМ». Я ещё подумала: бред, какой корм, у меня даже кактус — и тот Леноккин.

— Так, — сказала я коту. — Это уже не смешно.

Кот зевнул, показав розовую пасть, и прикрыл глаза.

Утром меня разбудило солнце — я уснула в горнице на диване, под бабушкиным лоскутным одеялом, и спала, доложу я вам, как убитая, что в свете дальнейших событий звучит, конечно, двусмысленно. Кот обнаружился в ногах. На моих, уточняя, ногах — у него, как потом выяснилось, вообще было широкое толкование границ чужой собственности.

А через час в калитку постучали, и я познакомилась с Раисой Степановной. Соседка оказалась маленькой, круглой и стремительной, как колобок на пенсии. В руках у неё была тарелка, накрытая полотенцем, из-под которого пахло так, что кот открыл оба глаза.

— Асенька! — закричала она от калитки, хотя нас разделяло метра четыре. — Приехала! А я гляжу — окна раскрыты, думаю, батюшки, неужто Асенька! А Капа-то, царствие небесное, всё говорила: приедет моя коза, вот увидишь, Рая, приедет!

Через три минуты она уже сидела у меня на кухне, разливала чай, который сама же и заварила, командовала, где у меня — у меня! — стоят чашки, и говорила, говорила, говорила. Из потока я узнала: что зовут кота Филимоном и что он «к ней столуется ходил» всё лето, паразит рыжий, сметану жрал, как не в себя; что герань поливала тоже она, потому что «как же цветы-то бросить, цветы не виноватые»; что весной, после Капы, она раза два видела ночью в доме свет — неяркий, ходячий, как от фонарика, — но смолчала, потому что про этот дом скажи слово — потом сама нечистой окажешься; что пироги у неё с капустой, Капа их любила;

и что я «вылитая порода, подбородок ихний, полётовский». Слушать её было тепло. Так тепло, что я не сразу заметила момент, когда температура изменилась.

— Раиса Степановна, — спросила я, дождавшись паузы в третьем чайнике, — а расскажите про дом. Мне в городе уже намекнули, что про него говорят всякое. И бабушка в письме... В общем, что за история?

Колобок притормозил. Раиса Степановна поставила чашку, и руки у неё — я заметила, я теперь всё замечала — нашли друг друга на столе и сцепились.

— Дак чего рассказывать, — сказала она другим голосом, пониже и поглуше. — Болтают, известно. Языки без костей.

— Про повешенных, — сказала я ровно. — Про дочь бабушкину и её мужа. Я ведь всё равно узнаю, не от вас, так в городе расскажут. Лучше от вас.

Она помолчала. Посмотрела в окно — туда, где за стеклом качалась ветка антоновки. И вдруг перекрестилась, мелко, привычно, как сглатывают.

— Танечка с Алёшей, — сказала она тихо. — В семьдесят восьмом. Вон в той комнате, где печка... — Она не договорила и махнула рукой. — Сказали — сами. Удавились, дескать, оба разом. Молодые, год всего женатые, она весёлая была, как птица, он тихий, мухи не обидит... А потом пошло: дом, мол, нечистый, место плохое, на доме грех. К Капе перестали ходить. Она сначала воевала, доказывала, по судам, по прокурорам ездила, а после замолчала. На всю жизнь замолчала, считай. Только мне иногда... — Раиса Степановна осеклась, как человек, который чуть не наступил на лёд не той ногой. — Ну, по-соседски, известно. Болтали о всяком.

— А вы как думаете? — спросила я. — Сами?

Никогда не забуду, как она на меня посмотрела. Быстро — и тут же в сторону, в чашку. И сказала чашке:

— Думать, Асенька, дело хорошее. Только в нашем городе долго думать вредно. Город маленький, а память у него длинная. — Она поднялась, засутилась, стала собирать полотенце, тарелку, себя. — Пироги ешьте, пока тёплые. И Фильке сметанки купи, столуется он у тебя теперь.

Уже у калитки, повязывая платок, она вдруг обернулась — и на секунду из доброго колобка глянул кто-то смертельно усталый:

— Ты, девонька, вот что. Ты, если жить тут собралась, — живи. А в старое не лезь. Старое — оно как колодец заброшенный: сверху травка, а ступишь — и нету тебя. Капа вон всю жизнь прокопалась...

— И что? — спросила я тихо.

— И упала с лестницы, — сказала Раиса Степановна.

Сказала — и осеклась сама, и засемила к своей калитке быстро-быстро, не оборачиваясь, а я осталась стоять посреди двора с тарелкой пирогов в руках. Потому что — оцените, я ведь редактор, я с формулировками живу десять лет — она не сказала «и умерла». Не сказала «и ничего не нашла». Она сказала: «прокопалась — и упала с лестницы». В этом предложении между частями стояла причинно-следственная связь. Её туда поставил не мой профессиональный невроз. Её туда поставила соседка, которая сорок лет прожила через забор и которая только что испугалась собственного синтаксиса.

Я посмотрела на дом. Дом смотрел на меня сквозь тюль и распахнутые шторы, и было в его взгляде что-то такое... терпеливое. «Ну? — словно говорил он. — Сама дойдёшь или подсказать?»

— В доме всё есть, — вслух процитировала я бабушку.

Филимон на крыльце издал утробный звук, который при желании можно было считать подтверждением. Я вздохнула, занесла пироги в дом и пошла искать чердачную лестницу. С которой полгода назад упала самая здравомыслящая женщина этого города — аккурат

после того, как всю жизнь «прокопалась в старом». Отпуск переставал быть томным, не успев начаться.

К вечеру выяснилось, что конец августа в доме без печки — это не конец лета, а декабрь с рассрочкой. Решила топить. В конце концов, рассуждала я, женщина, пережившая десять лет редакционных дедлайнов, справится с сооружением, которым столько лет управляла одна пожилая дама.

Через двадцать минут дама из меня не вышла. Вышел дым. Он шёл откуда угодно, кроме трубы: из дверцы, из поддувала, из щелей, о существовании которых я не подозревала, — и Филимон смотрел на меня сквозь сизую пелену взглядом инструктора, у которого курсант завалил вождение.

Раиса Степановна возникла на пороге раньше, чем я сообразила, что дым в форточку виден с её огорода. Окинула взглядом поле боя, всплеснула руками и приняла командование:

— Вьюшку! Вьюшку сперва открой, горе ты моё городское! Капа-то с вьюшки начинала!

За следующие полчаса я узнала про печь больше, чем за всю жизнь — про центральное отопление: что тяга — существо живое и обидчивое; что начинать надо с двух полешков, «как со знакомства», а не валить охапку, «как замуж в восемнадцать»; что дрова в сарае лежат с прошлого года — Капа заготовила, она всегда заготавливала в августе. На слове «август» Раиса осеклась и стала смотреть в огонь.

Печь разгорелась — нехотя, с третьей попытки, как старый мотор. А через час дом переменялся. Не потеплел даже — ожил: заходили токи воздуха, заскрипело, задышало, и белёная голландка с синими птицами стала тёплой, как бок большого спокойного зверя. Я прислонилась к изразцам спиной — и спина вспомнила раньше головы. Зима не зима, а я грею спину, и баба Капа говорит: «Не присыхай к печке, коза, шевелись». Что-то ещё царапнулось тогда на дне памяти — маленькое, важное, детское, — царапнулось и ушло. Я не стала ловить.

— Ну вот, — удовлетворённо сказала Раиса, собираясь. — Печка тебя приняла. Печка — она как кошка: при ком хочет жить, при том и мурчит. — И уже от двери добавила буднично: — Дров до января хватит. А дальше Капа всегда у лодочных брала. Скажешь — привезут. Они ей должны были.

Кто кому и что в этом городе должен, я тогда не понимала ещё совсем. Ничего. Жизнь обещала объяснить.

Андрею я звонила каждый вечер, как было приказано, — в девять, после чего он, видимо, ставил у себя в графике галочку «объект жив». Разговоры наши со стороны показались бы сводками: «Как дом?» — «Стоит». — «Кот?» — «Командует. Раиса закармливает». — «Замки?» — «Андрей. Тут ЮНЕСКО». — «Ясно. Завтра в это же время». И всё, и короткие гудки. А я потом ловила себя на том, что весь день собираю для этой трёхминутной сводки смешное и важное — как собирают в карман камешки. И что в девять без пяти я уже сижу у телефона. Сводки, доложу я вам, бывают разными. К слову, про сны — раз уж я в этой истории всё время отчитываюсь о своих. В бабушкиных дневниках нулевых годов мне потом попались записи, от которых я долго сидела не дыша: «Видела Аську во сне. Большая, волосы тёмные, сидит над бумагами, правит что-то. Сердитая — точно наша». И через несколько лет ещё: «Опять Аська снилась. Шла по нашей улице к дому, торопилась. Я ей кричу: не беги, успеешь! — а она не слышит». Не слышала, баба Кап. Двадцать пять лет не слышала. А ты, выходит, видела меня ровно такой, какой я стала, — за годы до того, как я такой стала. Кто из нас кому снился — это мы ещё посмотрим. Некоторые заменяют целую переписку девятнадцатого века.

В первую же неделю случился, к слову, мой день рождения — я о нём, честно говоря, забыла. У меня с этим праздником всю жизнь были служебные отношения: дома он проходил по разряду «посмотри на других людей, в твои годы у всех уже...», и я давно научилась пережидать эту дату, как погоду. А тут — закрутилась с домом и пропустила бы вовсе, если бы утром в калитку не вошла Раиса с пирогом на вытянутых руках.

— Со днём ангела тебя, девонька. Капа всегда говорила: у моей козы день рождения, когда белый налив сыпется. По наливу и помню.

Я стояла посреди двора и не могла произнести ни слова. Меня помнили по яблокам. Не по паспорту, не по записной книжке — по сорту яблок. Есть календари точнее григорианского.

Вечером в ЖЖ обнаружилось одиннадцать восклицательных знаков от «Солнышка_в_офисе» и стихийный парад поздравлений от подписчиков, а ровно в девять позвонил Андрей. «С днём рождения», — сказал он. Это был не вопрос и не поздравление даже — констатация факта, как «объект жив». Я спросила, откуда он знает. «Паспорт твой видел, когда замок чинил. Не спрашивай разрешения». Подарок, сказал, вручит лично, — и вручил, как вы помните, через неделю: себя, с рюкзаком и фонарём, на пороге.

А ночью я перевернула бабушкин дневник до сентябрей — и нашла то, что искала, хоть и боялась найти. Каждый год, тридцать первого августа по старой памяти или первого, второго сентября: «Аське двадцать. Пекла её пирог». «Аське двадцать пять. Налив нынче хорош — её год». «Аське тридцать. Большая уже. Пирог пекла, съели с Раиской, Раиска не знает, в честь чего». Двадцать пять лет женщина пекла пирог в честь дня рождения, на который её не звали, и ела его с соседкой, не объясняя повода. Я задула вечером свечку на Раисином пироге — первую свечку за двадцать пять лет, желание над которой не стыдно было произнести вслух. Произносить не буду и вам: оно к тому времени уже наполовину сбылось.

Назавтра я совершила свой первый выход в город в статусе «той самой» — за продуктами и хозяйственным. Доложу вам: к славе я оказалась не готова. В магазине у автостанции очередь при моём появлении сделала то, что в ремарках пишут «оживилась»: разговоры стихли, а взгляды, наоборот, включились на полную мощность. Продавщица отпускала мне сахар и спички с лицом сапёра. Бабка в плюшевой жилетке, стоявшая за мной, держала дистанцию метра в полтора — как от заразной, — а на выходе я спиной поймала её энергичное крестное знамение. Меня крестили вслед, как скорую помощь.

— Не обращай внимания, — философски сказала мне Раиса Степановна, которой я рассказала о произошедшем по возвращении. — У нас город какой: сорок шесть церквей, десять монастырей с соборами, по пять каждого, восемь часовен и один автовокзал. Тут к нечистой силе отношение особое, не то что в Москве вашей... Поживёшь, пирогами угостишь — переобуются. Народ у нас отходчивый, ему только повод дай.

А вечером ко мне постучался участковый. Молодой парень, лет двадцати семи, уши торчком, форма сидит, как на школьнике пиджак старшего брата. Представился: лейтенант Сергеев, для краткости почему-то «можно просто Серёжа», — потоптался на крыльце, согласился на чай, выпил три чашки и за всё это время так и не сумел сформулировать, зачем пришёл. По должности, говорит, знакомлюсь с новыми жителями. Новых жителей у вас тут, спрашиваю, много? Один, говорит, вы. И краснеет.

Уже у калитки он вдруг решил:

— Анастасия Викторовна, вы это... Если что — звоните мне напрямую, вот номер. Не на отделение, а мне. — Помялся и добавил совсем тихо, по-мальчишески: — Я в этот дом пацаном через забор лазил. На спор. Капитолина Андреевна меня поймала и, думаете, уши надрала? Чаем напоила. С вареньем. И сказала: «В следующий раз через калитку приходи, герой». Я потом ходил. Книжки у неё брал, про сыщиков... Это я к чему. Вы не верьте, что про неё говорят. И про дом не верьте.

И ушёл, красный, как его же погоня. А я стояла и думала: интересный городок. Вслух — крестятся и шепчутся. А поодиночке, без свидетелей — варенье, книжки про сыщиков и «не верьте». Как будто город говорил двумя голосами: хоровым и человеческим. И хоровой я уже слышала, а человеческий только начинался.

Пятницу я посвятила генеральной уборке. Весь день мыла, тёрла и наводила красоты. Полы были надраены до состояния «хоть гостей води», пыль изгнана из всех углов, шторы

отправлены в стирку, а я внезапно выяснила, что деревенский дом способен производить грязь быстрее, чем городской редактор — правки.

К вечеру у меня болело всё, включая мышцы, о существовании которых я до этого даже не подозревала. Зато дом выглядел так, будто в нём снова собирались жить, а не хранить воспоминания.

Хотя «уборка» — неправильное слово. Уборка — это когда возишь тряпкой по знакомым поверхностям. А я знакомилась. Каждая вещь в этом доме требовала, чтобы ей представились, и у каждой второй была биография.

Воду я носила из колодца — водопровод в доме был, но Андреево «сперва прокипятить» звенело в ушах, а для полов кипятить не надо. Ведро шло вниз долго, цепь разматывалась с глухим воркованием, а вода поднималась тяжёлая, ледяная, с тем самым привкусом железа, который я, оказываясь, помнила нёбом. В детстве баба Капа давала мне напиться прямо из ведра, с краешку, придерживая за шиворот, и говорила: «Колодезная вода — она живая. Из крана — поёная, а эта — живая». Я отпила с краешку. За двадцать пять лет вода не изменилась ни на йоту. Проверку временем колодец прошёл без замечаний.

В комоде, в нижнем ящике — не том, где письма, в другом, — лежало постельное бельё, переложённое сухой лавандой: наволочки с вышитой меткой «КП», простыни, отглаженные до картонного состояния. А с краю, отдельно, лежал узелок — белый ситцевый платок, увязанный вчетверо, и на нём английской булавкой приколота записка: «Это не трогать. Аське: не пугайся, коза, это у нас, стариков, порядок такой. Помрёшь тут без порядка». Я развязывать не стала. Я уже знала, что это, — у прабабушки моей подруги детства был такой же узелок, смертный, собранный загодя, чтобы никого не утруждать. Восемьдесят лет, одна, в доме, который весь город обходит стороной, — а у неё всё было готово и подписано, вплоть до собственных похорон. И записка с «не пугайся» — для внучки, которую она не видела четверть века и которой всё равно собиралась всё оставить. Я посидела над этим узелком. Потом закрыла ящик. Есть вещи, после которых уборка превращается в служение.

В буфете обнаружился парадный сервиз на двенадцать персон — тончайший, с золотым ободком, ни единой щербинки. По виду — ни разу не использованный. Я представила, как она его берегла: на свадьбу Тане, потом на крестины внуков, потом просто «на случай», потом уже не на что. Двенадцать персон. В дом, куда тридцать лет не приходило больше двух человек разом. Я достала сервиз, перемыла его весь и поставила на видное место. Решено: использовать. По любому поводу. Чай по четвергам — повод.

За зеркалом в простенке — старым, в потемневшей раме — нашлась пачка открыток, заткнутых за раму с изнанки: с Восьмым марта, с Новым годом, «Дорогой Капитолине Андреевне от коллектива...» — всё годов до семьдесят восьмого. После семьдесят восьмого открытки обрывались. Город перестал поздравлять её ровно тогда же, когда перестал здороваться. А она их хранила — те, “довоенные” в её личном летосчислении, из жизни, где у неё ещё была семья и коллектив. Я вернула открытки на место, за раму. Пусть лежат, где положены.

Швейная машинка «Подольск» с ножным приводом стояла под окном, укрытая, как лошадь попоной, выцветшим ситцем. Под лапкой был заправлен кусок ткани — она не дошила. Фартук, судя по крою. Я не тронула и его: в этом доме было слишком много недошитого, недозаботанного, недочитанного, и я уже понимала, что моя работа — не докончить за неё, а продолжить рядом. Это разные глаголы.

Я дозрела до Танюшиной комнаты — вошла туда с ведром и тряпкой, как входят с цветами: убираться в комнате — самый честный способ с ней познакомиться. Пыль тут вытирали — бабушкина рука дотягивалась, — но жизнь не трогали, и я тоже старалась трогать так, чтобы класть обратно с точностью до миллиметра.

Этажерка рассказала мне Таню лучше любых свидетелей. Альбомы по древнерусской живописи — это понятно, это к Алёше. Но между ними стояли: «Три мушкетёра» с рассыпа-

ющимся корешком, самоучитель игры на гитаре (гитары в доме не было — не успелось, надо думать), «Книга о вкусной и здоровой пище» с единственной закладкой на торте «Прага» и польский журнал мод за семьдесят седьмой год, где у одного платья был загнут уголок. Я разглядывала это платье — с рукавами-фонариками, по моде того года — и понимала, что смотрю на Танино несбывшееся: на торт, который не испекли к дню рождения, на платье, которое не сшили на той польской машинке. У мёртвых остаются не только вещи. У них остаются закладки.

В книгах жили пометки — Танин почерк оказался спорщицким: на полях алёшинских альбомов она писала ему записки. Против какой-то иконы строгого письма: «А мне всё равно Никола добрый больше нравится. Не воспитывай меня, С.!» — «С.» это Снегирёв, она звала его по фамилии, когда дразнила. И его ответ её же карандашом перехваченным, ниже: «И не думал. Т., у тебя вкус лучше моего, только никому не говори». Я закрыла альбом очень осторожно. Есть подслушанные разговоры, после которых чувствуешь себя не подслушивающим — наследником.

А акварель — наш дом, сад, антоновку, «Капитолине Андреевне от нас» — я в тот день сняла со стены Таниной комнаты и перевесила в горницу, на простенок, где её видно от стола, от печки и от двери. Подумала: хватит ей висеть в комнате, в которую не заходят. Алёша рисовал этот дом живым и летним — пусть висит там, где дом снова живой. Если что, объясню обоим лично. Когда-нибудь. Не скоро.

Фотоальбом я себе выдала вечером, как премию за отмытые окна, — толстый, плюшевый, с латунной застёжкой. Капа молодая — оказывается, красавица, с тяжёлой косой вокруг головы и таким взглядом, что понятно: эта пощады просить не будет. Муж её, мой двоюродный дед, погибший, когда Тане было пять, — лётная форма, орденские планки, улыбка человека, который ещё не знает. Таня — от грудничка в кружевном конверте до невесты: на каждой фотографии она смеётся, я не нашла ни одной серьёзной. И на заднем форзаце, отдельно, конвертик, а в нём — я. Все мои семь детских фотографий, которые прорвались сюда до цензуры. На обороте одной, где я с бантом, бабушкиной рукой: «Аська. Порода наша. Дождусь».

«Дождусь» было написано в восемьдесят девятом году. Она ждала меня двадцать пять лет — и не дождалась четыре месяца. Я закрыла альбом, погасила свет и долго лежала, слушая, как дом поскрипывает, устраиваясь на ночь, как Филимон перетекает по половицам с поста на пост. Наследство — это когда тебе достаются стены. А мне доставалась жизнь, прожитая в мою сторону. Этому нет юридического термина.

В понедельник у меня случился электрик. Звали его Тимофеич, прислала, разумеется, Раиса («он Капе щиток смотрел, он в курсе»), и был он сед, нетороплив и философичен, как все люди, сорок лет проработавшие с напряжением. Щиток он осмотрел с уважением, пробки потрогал, как трогают антиквариат, и вынес вердикт:

— Проводка у Капитолины Андреевны — как сама Капитолина Андреевна. Старой школы. Сейчас так не делают — сейчас делают красиво. — Он поменял пробки на автоматы, подтянул что-то в недрах щитка, заставил подвал и сени светиться впервые, по-моему, за десятилетие и от денег отказался наотрез: — За такое не беру. Я ей при жизни должен остался — она мне внука от армии отчитала... в смысле, писала она грамотно, прошение там, по здоровью... Грамотная была женщина. Пирогом возьму, если есть.

Пирог был. Уходя, Тимофеич задержался у калитки и сказал — не мне, столбу, на котором крепился ввод:

— Столбы на улице старые, при грозе может тряхнуть линию. Свечи держи. — И добавил, помолчав: — А что говорят про дом — не слушай. Дом справный. Я в плохих домах проводку не делаю: в них провода не живут. А тут — живут.

Я потом вспомнила его дважды: про столбы — в первую же грозу, а про провода — всю осень.

К концу недели у дома и у меня сложился утренний регламент, и я с удивлением обнаружила, что он мне нравится. Подъём — не по будильнику, а по Филимону, который ровно в семь усаживался мне на грудь с весом и неотвратимостью гражданского долга. Ходики завести — у них завода на сутки, и это, как выяснилось, лучший в мире способ ни дня не пропустить: дом просто останавливает время, если про него забыть. Печь — два полешка, «как со знакомства». Чайник. Крест на календарике. На гвозде у двери обнаружилась ещё одна бабушкина тетрадка, хозяйственная, — не дневник, а памятка дому: «Вьюшку — только после прогара, не раньше!», «Трубу чистить на Казанскую», «Колодец не запускать — водить ведро каждый день, вода застоя не любит», «Герань не заливать. Она терпит, но не любит». Дальше в памятке шли пункты, по которым бабушку можно было восстановить целиком, как по ДНК: «Раисе семян не давать — посеет не то, наврёт, что взошло». «Лестницу на чердак — проверять ступени по весне. Сама проверяй, мужиков не подпускай: натопчут и наврут». «Если в окно стучат ночью — сперва подумай, потом открывай. Подумавши — можно и не открывать». И последний пункт, дописанный явно позже, другими чернилами: «Дому — говорить спасибо. Вслух. Он слышит, проверено». Я повесила тетрадку обратно и стала жить по ней, как живут по уставу, — и дом отзывался. Не мистически, нет. Просто дом, с которым обращаются по его правилам, перестаёт скрипеть в незнакомых местах. Как и человек, в общем-то.

В субботу Раиса погнала меня на торговые ряды — «нечего по магазинам, там всё магазинное, а на рядах всё людское». Ряды были те самые, из детства: длинная галерея с белыми арками, мёд, яблоки, рябина пучками, вязаные носки и бабки за прилавками — такие же несменяемые, как арки.

У медового прилавка со мной случилось страшное. Продавщица — румяная, в белом фартуке поверх куртки — наливала мне мёд, и я, глядя на её щедрую руку, сказала — не подумав, не вспомнив, само сорвалось из какого-то донного слоя:

— Ты мне в эту банку недолей, а то знаю я твою щедрость.

Рука с черпаком остановилась. Продавщица подняла на меня глаза и смотрела секунд пять — долгих, рыночных, по местному курсу почти вечность.

— Господи, — сказала она тихо. — Полётовская. Голос-то. Голос Капин, один в один... — И закричала куда-то вглубь рядов, через три прилавка: — Зин! Зина! Иди сюда, тут Капина внучка мёд берёт!

И пришла Зина, и ещё какая-то Валентина в пуховом платке, и меня рассматривали, и сличали подбородок, и вспоминали, как бабушка торговалась — «не за деньги, за справедливость», — и мёду мне в итоге налили с таким верхом, что банка не закрылась. Денег за лишек не взяли. «За Капу», — сказала продавщица сурово, как ставят печать.

Я шла домой со своей незакрывающейся банкой и думала: вот тебе и хоровой город. В хоре, если встать поближе, всегда слышны отдельные голоса. Просто подходить надо не к хору. К людям.

А после обеда я узнала о своём доме много нового — от профессионала. Я полола палисадник, когда по улице подошла экскурсия: гид с флажком и десятка два туристов с фотоаппаратами. У моего забора группа встала.

— А справа вы видите знаменитый «проклятый дом», — поставленным голосом сообщил гид. — С ним связана городская легенда: в семидесятые годы здесь при загадочных обстоятельствах погибли молодожёны, и с тех пор в доме видят свет, слышат шаги, а хозяйка дома, по слухам, разговаривала с духами... Дом, как видите, нежилой.

«Нежилой дом» в моём лице разогнулся над грядкой с пучком сныти в руке. Группа ахнула и защёлкала фотоаппаратами с удвоенной силой — живая хозяйка проклятого дома, удача-то какая. Филимон, артист, вышел к калитке и сел в профиль. Гид замялся. Я улыбнулась ему самой светской из своих улыбок:

— Добрый день. Духи передают привет и просят не топтать георгины.

Группа была счастлива. Гид смят. А я полола дальше и думала: вот так и живут легенды — им даже факты не нужны, у них флажок и поставленный голос. Тридцать лет этот флажок водил людей мимо живой женщины, рассказывая им про нежилой дом. Ничего, думала я, выдёргивая сныть. Мы вам перепишем экскурсию. Дайте срок.

Вечером того же дня я дошла наконец до монастырской стены — не по делу, просто ноги попросили, — и стояла там, пока на колокольне разбирали службу. Колокола ударили над самой головой, внезапно и во всю мощь, как тогда, в восемьдесят четвёртом, и я, сорокалетняя без пяти лет женщина, поймала себя на том, что стою и улыбаюсь до ушей. «Это они не на тебя, Аська. Это они для тебя». Проверено временем: формула работала. На обратном пути город лежал в сумерках весь — купола, дымы, огни в окнах, — и я впервые шла по нему не как приезжая. Как местная, у которой натоплено.

На следующий день я наконец-то дозрела до инспекции чердака. Лестница обнаружилась в сенях — крутая, почти корабельный трап, с перилами, отполированными за полвека ладонями. Я постояла под ней, задрав голову. Вот, значит, где. Люк наверху был закрыт. Ступени как ступени: крепкие, сухие, ни одной шаткой. Я попробовала каждую — медленно, с пристрастием, как принимала бы вёрстку у халтурщика. Ни скрипа, ни люфта. С такой лестницы, конечно, можно упасть — упасть можно и с табуретки. Но восемьдесят лет прожить в этом доме, тысячу раз слазить на этот чердак за яблоками и луком — и упасть именно тогда, когда «всю жизнь прокопалась в старом»?

«Не выдумывай, — сказала я себе голосом матери, что было особенно противно. — Старуха, возраст, голова закружилась». — «Угу, — ответила я себе уже своим голосом. — А ещё у нечистого дома тридцать лет не было покупателей, а теперь от них телефон горячий».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.